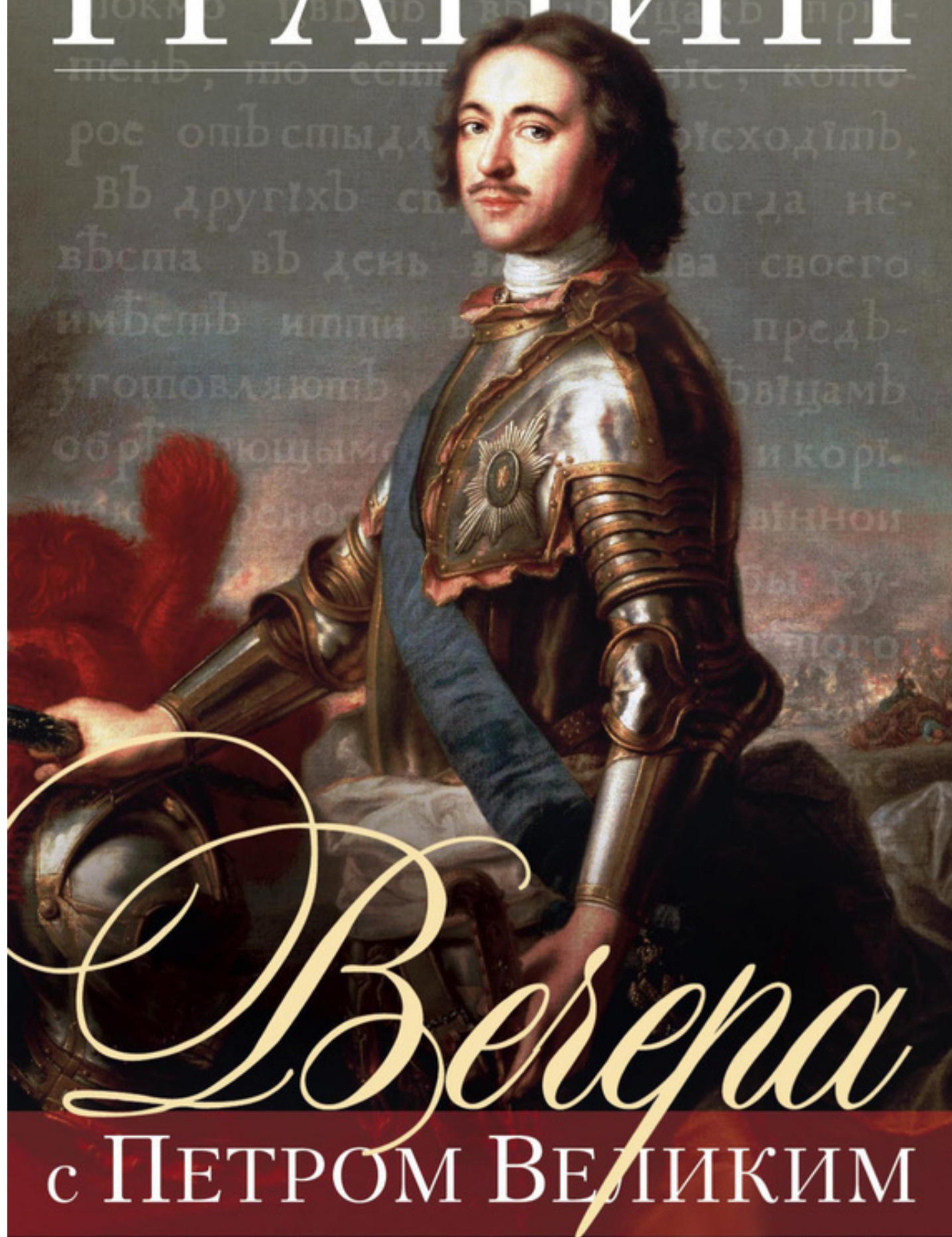


Д А Н И И Л

# ГРАНИН



*Велера*  
с ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ

Даниил Гранин

**Вечера с Петром Великим**

«Центрполиграф»

2014

**Гранин Д. А.**

Вечера с Петром Великим / Д. А. Гранин — «Центрполиграф»,  
2014

Роман популярного прозаика позволяет заглянуть в глубь эпохи, называемой ныне Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем малоизвестные широкой аудитории факты. Устремленный к великой цели, свершающий судьбоносные для страны деяния, Петр I представлен глобальной, всеевропейского масштаба фигурой. Однако для автора важнее показать внутренний облик императора: он детально исследует душевные качества Петра I, осмысливает переломные моменты его духовной жизни, раскрывает драматические страницы личной, в том числе семейной и любовной, биографии. Произведение Д. Гранина необычно по форме и значительно по содержанию, написано ярким, образным языком, с большим уважением к главному герою.

## Содержание

Вступление	6
Глава первая	11
Глава вторая	25
Глава третья	33
Глава четвертая	46
Глава пятая	54
Глава шестая	56
Глава седьмая	61
Глава восьмая	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

**Даниил Гранин**  
**Вечера с Петром Великим**  
**Сообщения и свидетельства господина М.**

*Художественное оформление Е. Ю. Шурлаповой*

© Д. А. Гранин, 2014

© ООО «Рт-СПб», 2014

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014

\* \* \*

## Вступление

Прибрежный корпус санатория стоял заколоченный. В нем жили летучие мыши, просто мыши и привидения. После ужина, раздвинув доски, мы поднимались по широкой мраморной лестнице, мимо разбитых ваз, шли через залы на галерею. Под ногами хрустели осколки бутылок, валялись бумажные стаканчики, окурки. Линолеум был содран, перегородки разобраны, углы завалены железными кроватями, обои висят лохмотьями. Разруха обнажила старый дворец. В большом зале остался ломаный камин, весь заваленный бутылками. Пахло пометом, мочой, тленом.

Мы выходили на галерею. От парка поднималось тепло. Был виден залив, над темным обрывом горизонта в небе горело розовое зарево вечернего Петербурга.

В парке шумел водопад.

Молочков рассказывал, кто тут гулял при Петре, при Екатерине. Он их всех знал.

Привидения иногда спускались в парк, их видели в каменных беседках.

На галерее стояли скамейки, круглый столик и одно плетеное кресло. Оно было отдано профессору Челюкину.

В нем все соответствовало крупному ученому: аккуратная седая борода, перстень, глубокий бас, даже имя-отчество – Елизар Дмитриевич. Занимался он лесными букашками-вредителями, обожал всю эту суетливую мелочь – жучков, червячков, таракашек, написал о них несколько монографий. Леса, которые они портили, он тоже любил.

– Человек – это не только человек, – возглашал Елизар Дмитриевич, – это еще и звезды, и божья коровка, и гадюка.

Санаторий назывался «Канюк». Говорили, что есть такая птица. Больные называли его «Какюк». Это было справедливо, санаторий разваливался. За нами никто особо не смотрел, мы жили свободно, лениво, Гераскин приносил «маленькие», Антон Осипович – соленые огурцы и соленые помидоры, раздавал их, спрашивал: «Что сказал Чехов?» – и сам отвечал: «Сколько ученые ни думали, лучше закуски, чем соленый огурец, придумать не могли».

Антон Осипович соблюдал порядок – мы должны были произносить тосты, чокаяться, пить с перерывами и без принуды.

Первым хмелел Молочков. Если его не завести, то он удалялся в себя, что-то шептал, бормотал, чему-то улыбался. Заводили его на исторические темы. Он был историк, хотя всячески отрицался, утверждал, что он всего лишь учитель, дилетант, недоучка, что у него нет научных работ.

Всю жизнь он увлекался петровским временем; стоило ему начать рассказывать про Петра, голубые глазки расцветали, голос креп, вялое лицо оживало.

В том, петровском, окружении у него имелись друзья и недруги, придворные дела волновали больше, чем нынешние.

Однажды он появился расстроенный, хлопнул стопку водки не закусывая, еще одну, после чего сообщил, что в Лондоне на аукционе продали архив Петра Андреевича Толстого. Кому – неизвестно. Наши, конечно, проморгали, да и наверняка не стали бы тратить. Хоть бы одним глазком взглянуть – что там было. Видать, те документы, что Толстой вывез приграничной своей командировке.

Петр Андреевич Толстой, пояснил он Гераскину, был правитель Тайной канцелярии, крупный сановник, может, третье лицо в государстве – примерно как Берия при Сталине, если считать вторым Маленкова. Что он мог вывезти? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы он, Молочков, все бы отдал.

Гераскин на это засмеялся:

– Да что у вас есть? Одно название – учитель. И то уволенный. А учитель, известно, низший член нашего общества.

Специальность Гераскина была резать правду-матку, и он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. С падением советской власти, говорил он, царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию – профессор, учитель, чиновная шишка – это Антон Осипович; не то актер, не то художник, не разбери-поймешь, – это Серега Дремов и им подобные, один он, Евгений Гераскин – представитель прежнего Его Величества рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам.

Молочков метался по галерее, отшвыривая ногами бутылки. Мы никогда не видели его таким расстроенным. Как будто этот архив похитили у него. Петра Толстого он всегда терпеть не мог. Проныра. Двуличник. Лжец. Недаром государь подозревал его, вот и выявился: вор, злодей, преступник, шутка ли – похитить государственные бумаги.

– И что там уж такого значащего? – поинтересовался профессор.

Молочков руками всплеснул – все, все значимо, там наверняка были материалы следствия по царевичу Алексею, тайна его гибели, дела по Долгоруким, может, и на самую государственную.

– Если бы компромат на нынешних – не пожалели бы денег, – рассуждал Антон Осипович.

Вечерние птицы влетали в разбитые окна дворца, Гераскин со стуком резал последний огурец.

– Вот вы говорите, злодей, – продолжал Антон Осипович, – а может, он хотел наоборот – злодейство опубликовать. Вы напрасно отмахиваетесь, я убедился – люди злодейства совершают большей частью не по своей воле. Возьмите: такой, можно сказать, классический злодей, как Лаврентий Павлович Берия. Я вам как-нибудь про него сообщу такой позитив, ахнете. Благодарные народы ему вполне могли памятник ставить. Шекспировский персонаж, шекспировская трагедия.

Это было что-то новое, обычно Антон Осипович сообщал нам о всяких темных делишках наших начальников – похоже, кадровики делились между собой информацией, иначе откуда бы ему знать столько про министров, губернаторов, депутатов, про их детей, любовниц, виллы, службу и доходы.

Мы устали от его обличений, от своей бессильной злости. Злость хороша как приправа, все это жулье, что обворовывало и обманывало нас в последнее время, – оно еще отравляло нас ненавистью, не хотелось больше слушать о них.

Нас больше влекло прошлое, когда Россия мужала, поднималась как на дрожжах... Молочков рассказывал о том времени горячо и странно.

Странность же заключалась в том, что все, что происходило с Петром, происходило как бы в присутствии Молочкова. Он являлся к нам из другой эпохи и торопился сообщить новости.

Как-то, когда Молочков вышел, Серега Дремов произнес:

– Очевидец!

Ничего удивительного в этом для Челюкина не было, он считал, что самый неизученный феномен – это Время. Каждый живет в своем времени. Например, Антон Осипович остался жить в Советском Союзе. Сам Челюкин обитал в том быстротекущем времени, в каком жили его сезонные букашки, а то и однодневки.

– Врет, как очевидец, – сказал Антон Осипович, подчеркивая слово «врет», хотя нас поразило «очевидец», – а ведь именно очевидцы-то и перевирают – заботятся о впечатлении, им надо удивить, ужаснуть, обрадовать.

– Чего вы хотите, – обращался к нам Серега Дремов, – разве мы больше знаем, что там за Кремлевскими стенами? Тоже гадаем, ловим слухи.

О чем-то Молочков явно умалчивал: говорит-говорит и вдруг оборвет себя. Иногда злился на кого-то из петровских деятелей: только и знают толковать, кто ближе государю, кого куда назначат.

Признался в своих симпатиях к Анне Монс, любовнице Петра.

Насчет Меншикова выразился так: «Раз государь держит его, не удаляет, значит, есть основания».

Или вдруг: «Мне кажется, Меншиков благородного происхождения».

Дремову нравилось воображать, будто Молочков встречался с Петром Великим, однажды он попробовал подступиться к этой теме, Молочков ответил: нет, мол, не получилось.

Серьезный его тон смутил Серегу. Гераскин погрозил пальцем: «Не вникай, не нашего ума это дело».

Посидев в тюрьме, Гераскин твердо усвоил, что все люди психи, у каждого свой Фантомас, у одних торчит, у других спрятан. Мир полон чудес, чудеса украшают жизнь, и не надо их разоблачать. Что касается Времени, то все как нельзя просто:

Время, времечко идет,  
Время катится,  
Кто не пьет,  
Не.....,  
Тот спохватится.

Любовь Молочкова к Петру удивляла и нравилась Гераскину. Хоть один достойный правитель нашелся.

– А может, там были сведения о заграничных счетах сенаторов, – не унимался Молочков.

– Уже тогда изловчались, – сказал Дремов.

– Много не надо смекнуть: у нас в России деньги не спрячешь, – сказал Гераскин.

Антон Осипович, человек практичный, поинтересовался судьбой заграничных счетов – что с ними стало?

Вздыхая, Молочков выдавал чужие секреты. Окном в Европу стали пользоваться сразу, пристраивали капиталы в банках голландских, английских.

Князь Голицын, князь Куракин, кое-кто из Долгоруких, более всех, конечно, Меншиков. После его смерти императрица Анна Иоанновна вместе со своим фаворитом Бироном немедля принялась выяснять, как выволить меншиковские вклады из голландских и английских банков. Банки пояснили, что деньги могут забрать только законные наследники. Эти заграничные банки позволяют себе... Бирон пораскинул мозгами и придумал комбинацию – царским указом помиловали и вернули из Березова сына и дочь покойного князя Меншикова. Бирон принялся их обхаживать. К дочери светлейшего посватался Густав Бирон, брат фаворита, они сочетались браком и отправились в Европу за деньгами. Сын же Меншикова задержался, пришлось его припугнуть, дали ему какое-то звание, деревушку, сотню крепостных – и все заграничные капиталы Меншикова прибрали к рукам.

Конечно, Меншиков охулки на руки не клал, но все же он был Молочкову симпатичнее этих шакалов.

У каждого была своя стезя, каждый каким-то образом нашел ее, обрел, прилачился. Самое важное в жизни, считал Серега Дремов, найти свою стезю, нашел – и все остальное приложится, не нашел – и будешь болтаться как дерьмо в проруби. Стезя – это не призвание, это дело. Гераскин жалуется – не учился, остался обалдуюем, вот и держись за бублик-баранку. Так



хоть держится. А он, Дремов, мечется столько лет, ни за что уцепиться не может. Актера из него не вышло, подался в режиссеры, хотел поставить «Историю города Глупова» – не дали. Сочинил пьесу о Марке Аврелии – не взяли. Перешел в театральные художники, а радости нет, годы идут без божества, без вдохновения. Должно же у него что-то быть, к чему-то он предназначен, неужели так вот и проживет, не узнав, где его талант.

Он завидовал Молочкову. Сутулый, бледный, некрасивый человечек, сразу видно, неудачник, с диссертацией не получилось, публикаций нет – и никакой ущербности, парит, ликует в своих эмпиреях. Ведь если разобраться, у него и таланта особого нет. Только страсти. Может быть, эти страсти и есть призвание?

Ходит Молочков в драной лыжной куртке, денег нет, пьет на халяву и уверен, что все было у Петра не так, как преподносят.

Рассказывал Молочков артистично, у него и дикция, и напор, так ведь не со сцены, всего лишь кучке профанов. Чего ради силиться?

Молочков отвечал не очень понятно: «Солнце мешает видеть звезды». В нем многое было непонятно. Счастливый неудачник. Может, все дело в том, что Молочков сумел сосредоточиться, сфокусировать себя; когда человек сосредоточится, он способен совершать чудеса.

Мысль эта профессору Челюкину понравилась. Человек не знает своих возможностей, у нас культ гениев, на самом же деле цивилизация больше обязана людям, которые умеют сосредоточиться на чем-то.

Неожиданное соображение пришло от Антона Осиповича. Как специалиста по кадрам.

– Ты, значит, хочешь узнать свое дарование, так? Допустим, есть у меня метод. Прибор вроде детектора лжи. Могу и другим способом. У меня опыт есть. Определяю. И что? Думаешь, тебя озарит, и жизненный путь откроется перед тобой во всей красе? Эх ты, несмышлёныш! Тут-то и начнется мучение. Потому что прибор покажет, что твое настоящее призвание – портной. Обрадуешься? Или к примеру – ветеринар! Ты ведь на меньшее, чем Булгаков, чем Мейерхольд, не согласен. А тебе кошачьего врача предлагают. Вот и живи с таким ярлыком. Может, и мне на самом деле не в кабинетах сидеть, а у плиты стоять поваром.

В такого рода разговорах Молочков участия не принимал. Он удалялся в себя, становился незаметным. Что это было – энергия присутствия, энергия молчания? Не поймешь. Если к нему обращались, он отвечал виноватой улыбкой глухого, она обезоруживала.

Вдруг он возвращался, чтобы огласить свою находку или изумление: Петр-то что надумал – взял и разделил помолвку и свадьбу. Раньше они шли одна за другой, заставил их развести на шесть недель, чтобы молодые подумали, присмотрелись друг к другу. Придумал ли сам, высмотрел в Европе – без разницы, мудрость не в том, чтобы придумать, а в том, чтобы использовать.

Наверное, нам самим нравилось видеть странным его поведение, так же как нравились рассказы мдесестер о призраке графини Румянцевой, которая ходит тут среди пивных бутылок и окурков.

Ухмылки кончились с того дня, когда Антон Осипович объявил, что нынче вечером Молочков опоздает, а то и вовсе не будет, его увезли в город.

Осведомленность Антона Осиповича не вызывала вопросов. Информация поступала к нему неведомыми путями. Приехали за Молочковым из Русского музея, недавно найден был в провинции чей-то старинный портрет, надо было установить, кто изображен. К услугам Молочкова, оказывается, и раньше прибегали, каким-то образом он мог определять на портретах лиц из петровского окружения. Сотрудники музея говорили, что Виталий Викентьевич их узнает. Как это происходит, они не выясняли, «чтобы не сглазить». К нему обращались и коллекционеры. Иногда он брал портрет домой, как они выразились – «вспомнить».

На этот раз «атрибутация» прошла быстро. Молочков сказал нам, что легко определил молодого Якоба Штелина, некоего петербургского немца, к тому же своего дальнего предка по отцовской линии. Им он когда-то занимался, он-то его и сблизил с Петром.

## Глава первая

### Профессор аллегорий

От Якоба Штелина и начались неприятности у Молочкова. Кто такой этот Штелин, мы понятия не имели. И о самом Молочкове мало что знали. Мы с ним уже неделю общались, и чем больше общались, тем более странным он казался. Вроде бы ничего особенного – учитель средней школы, вернее, бывший учитель, отстранен. А еще раньше уволен был из Института истории и еще откуда-то. И внешность у него была заурядная: человека, сильно траченного жизнью, болезненного, и все же он продолжал свои игры с ней: в прятки, в маскарад, не поймешь, что-то ребячье, увлеченное вспыхивало в нем, когда удавалось его разговорить.

Мы слушали его рассказ о Штелине, долго не улавливая, чем эта биография заслуживает внимания: добросовестный служака, законопослушный, жизнь без зигзагов и страстей. Но что-то же занимает в ней Молочкова? Приходилось внимать терпеливо.

Анекдоты о Петре, собранные этим Штелином, вызывали у учителя сомнения. Для работ Молочкова книга Штелина могла много значить. Надо было перевести с немецкого еще его письма, расшифровать записи, сделанные готическим шрифтом, а были еще записи по-латыни, совсем недоступной Молочкову. Но тут подоспела кандидатская диссертация, заказанная ему одним министерским прохвостом. Время от времени Молочков зарабатывал, изготавливая исторические диссертации для состоятельных клиентов. Заказчик согласился оплатить переводчика, правда, гонорар Молочкову секвестировал, заявив, что наука требует жертв.

Появился Якоб Штелин в Петербурге в 1735 году. Приехал из Лейпцига, где получил образование и занимался всякой всячиной, переводил с древнегреческого стихи Сафо, играл в оркестре у Иоганна Себастьяна Баха, устраивал фейерверки для княжеского двора. С юношеским пылом брался за любое дело. В ту пору Санкт-Петербургская академия наук разыскивала в Европе специалиста по иллюминациям, императрица Анна Иоанновна выразила желание обновить сие искусство в России и поручила это дело Академии наук, кому ж еще заниматься устройством увеселений. Кто-то порекомендовал академии молодого иллюминатора из Лейпцига, а может, он сам напросился, был заключен контракт «для аллегорических изобретений, иллюминаций и фейерверков», и Штелин отправился в Россию искать свое счастье.

Жалованье положили приличное, двор с расходами на такое дело не скупился, молодой человек мог развернуться и стал всю расписывать северный небосклон своими огнями. Попутно он вызвался составлять гороскопы. Затем сделал проект подъема большого колокола для собора. Он ни от чего не отказывался. Взялся наладить гравировальное дело, стал выпускать газету, ремонтировать башенные часы, ему следовало зарекомендовать себя.

Россия ему нравилась, здесь он обрел уверенность, образованных немцев в России ценили. Он с удовольствием слагает оды к торжественным придворным датам, готовит праздничные представления с аллегориями.

С петровских времен процветало искусство аллегии, целая система понятий в зрительных образах, доступная широкой публике. Поучительные сцены изображали рисованные фигуры: Порок соблазняет Невинность, Корысть и Тщеславие борются со Скромностью, атрибуты были разработаны со всей тщательностью. Все они что-то держали в руках, были стройны, горбаты, юны, дряхлы, могучи, хитры.

Штелин ловко управлялся с этой компанией, где действовали Коварство, Измена, Победа, Благоверие, Слава. Соответственно одевал их, наделял репликами, нарядами, мечами, венками, лирами...

Обнаружив, что в России нет истории национальных искусств, он недолго думая принялся за ее составление. Ему помогала самоуверенность. История театра, музыки, литературы, живописи – материалов хватало, дело спорилось, он управлялся с любыми жанрами.

В архивах попадались курьезы недавних петровских времен. При дворе тоже ходило множество легенд о великом государе. Анекдоты были один другого забавнее. Штелин стал записывать их – не пропадать же добру. Эта плюшкинская страсть сохранять всякую мелочь для историка вполне достойная. С немецкой добросовестностью он старался отделить правду от вымысла. Понимал, что рассказчики округляли сюжет, приукрашивали. Интересная особенность: когда он начинал тут же, при рассказчике, делать записи, рассказ становился строже и достовернее. Были истории невероятные, но, чем дальше, тем тверже он убеждался, что как раз невероятное было свойственно Петру; вдруг находился новый свидетель, который подтверждал, казалось бы, совершенно сказочный сюжет. Прав был один из первых учителей христиан Тертуллиан: «Верю, потому что абсурдно».

В конце концов Штелин решил, что его дело собирать и записывать все стоящее, а дальше видно будет.

Собирать анекдоты было интересно, но никто за них не платил. Заказы же на праздники прибывали. В России сиятельных особ хватало. Всем нужны были оды, лестные представления, роскошные иллюминации. Не годилось отказывать, да и не хотелось упускать подарков, наград, полезных людей. Ковры, перстни, шубы – грех было пренебрегать.



Кроме того, служить при дворе значило постоянно следить за переменами, угадывать новых фаворитов. Неосторожное слово, не тот поклон – везде скрывались ловушки.

Он добился расположения всеильного Бирона. Однако прочности не было; умерла Анна Иоанновна, начались шаткие времена, правители сменялись и сменялись, неизвестно, к кому прилепиться. Немецкую партию стали теснить. Бирона свергли, но Штелин вовремя успел



перейти на сторону Елизаветы Петровны. Бирон оказался в ссылке, а Штелин получил звание профессора академии.

Бирона подсидел граф Миних, став первым министром, под Миниха копал вице-канцлер Остерман. «Танцы на вулкане», – повторял Михайло Ломоносов. Высокочтимый друг, он помогал Штелину, переводил на русский его оды, сам сетовал на изменчивость власти.

На что Остерман – непроницаемо-осторожнейший, один из всех немецких царедворцев взятки не брал, ни в каком лихоимстве замечен не был, чуть что, удалялся по болезни – и тот не уцелел, окончил дни свои в ссылке.

Русские друзья предупреждали Штелина непонятно – «держи ушки на макушке». Ломоносов разъяснил, что сие значит, погрозил пальцем – суетишься много, нынче дороже рубля не шути.

Вступив на престол, Елизавета выделила Штелина среди прочих претендентов в наставники своему племяннику Петру Третьему – будущему императору.

Штелин не скрывал восхищения ее красотой, ни на что не претендуя, сопровождал иллюминации неуклюжими текстами в ее честь:

Надежды с правом  
Ныне довольны,  
Желание с верностью  
Спокойны,  
Того Россия токмо ждет,  
Да век живет Елизавет!

Он продвигался потихоньку, не вызывая зависти, не хвастаясь, стараясь изо всех сил. Приобрел дом, выгодно женился, добился звания надворного советника. Его поощряли прежде всего как специалиста по светопредставлениям, по элоквенции, то есть красноречию, как знатока аллегории – занятия эти двор чрезвычайно приветствовал. На самом же деле его следовало чтить за труды по истории русского искусства, но это мало кого интересовало.

Время от времени он пополнял свою коллекцию анекдотов. Чтобы всерьез заниматься сбором, следовало самому искать сподвижников Петра, его денщиков, кучеров, адмиралов, врачей, сенаторов – навещать их, часами выслушивать воспоминания, вылавливая среди потока пустяков стоящее. При этом полагалось пить, угощать, угощаться.

Он видел, как следы Петра быстро зарастали, смерть подбирала последних его спутников. Скончался корабельный мастер, с кем Петр работал на верфи, умер адмирал Сиверс, умер Василий Долгорукий – смерть похищала целые страницы из жизни царя.

Досада коллекционера терзала Штелина. Однако дворцовые события не давали передышки. Его воспитанник Петр Третий стал царем и, не успев усестись на троне, был свергнут супругой Екатериной и вскоре погиб при неясных обстоятельствах. Как ни удивительно, Штелин и от этого выиграл. Воспитанник давно раздражал его своими капризами, презрением к России; куда привлекательнее для Штелина была принцесса Екатерина: любознательная, охочая до книг, – они часами беседовали вдвоем. Когда Екатерина стала Екатериной Второй, полновластной хозяйкой, Штелин оказался в числе приближенных, получил чин статского советника, ему поручили готовить коронацию в Москве. Он с головой отдался этому делу и изготовил церемонию на славу.

За коронацией сразу же последовали выборы конференц-секретаря Академии наук, ему удалось избраться, дальше шли выборы в Вольное Экономическое общество, там ему надлежало произнести речь в честь молодой правительницы России. Сочиняя речь, Штелин вложил в нее все свое искусство. Фрейлина императрицы баронесса Розен поздравила его с успехом и спросила, как его коллекция анекдотов? Штелин снисходительно махнул рукой, сейчас не

до пустяков, нынешнее царствование обещает великие события! Не упустить бы момент, пока слава ласкает, все остальное подождет.

Если бы мог Молочков подсказать Штелину, в чем состоит главное его дело.

Почему человек не знает своего предназначения? Даже гении не сознают своего дара. Вагнер ценил свои стихи выше музыки. Ньютон считал величайшим созданием своей жизни замечания на Книгу пророка Даниила.

Анекдоты из коллекции Штелина значили для Молочкова больше, чем иные исторические документы, они выхватывали Петра из тьмы прошлого, как моментальные снимки. В памяти свидетелей сохранялись его неожиданные поступки, нечаянные фразы, то, что поражало воображение, но, как правило, не попадало ни в какие документы, воспоминания.

Некоторые анекдоты Молочков сумел проверить, события в них оказались достоверными. Штелин ничего не осмеливался присочинять, всякий раз сообщал, от кого сие слышал, да и рассказчики не слишком фантазировали – из почтения к государю. Но даже в сомнительных анекдотах присутствовала история, важно ведь было и то, почему такой анекдот прилепился к Петру, с чем это связано.

Тем временем новое событие увлекло Штелина: государыня Екатерина задумала соорудить памятник Петру Великому. Штелин не мог оставаться в стороне. Кому как не ему – историку, создателю аллегорических фигур, знатоку искусств – представить императрице проект памятника.

Один из первых он подает свой проект. Потом второй, третий.

Триумфальный столп, где изображены подвиги Петра и его деяния, конная статуя, пешая статуя... Памятники он украшает подробными надписями, окружает аллегорическими фигурами. Чего он только не напридумывал. Проекты подал и Ломоносов, и другие академики. Но у Штелина были подробнее разработаны все аллегии; заслуги Петра – добродетель попирала ногами пороки. Добродетель была прелестна и молода, пороки плешивы, уродливы и норовили извернуться. А то еще распростерлись чудовища, низложенные храбростью Петра.

Свои мысли изложил и Михайло Ломоносов, письма шли к Екатерине со всех сторон, она поручила разбираться с ними президенту Академии художеств Ивану Ивановичу Бецкому.

Бецкому аллегии нравились. Он видел памятник в духе знаменитой римской статуи Марка Аврелия. Сановник он был крупный и по российскому обычаю полагал командовать художником, коему будет поручено, – конечно, в соответствии с установками, полученными от ее величества. Она же хотела иметь памятник великому реформатору, творцу могучей империи. Это тоже не исключало аллегии. Например, штелинские чудовища вокруг пьедестала: грубое Невежество, безумное Суеверие, нищенствующая Лениность и злобная Ложь. Петр всех четырех заковал в цепи.

Перечень понравился не только Бецкому – он и нам нравился, еще бы придобавить безудержное Казнокрадство, но его-то даже Петр заковать не сумел.

Проекты памятника обсуждались активно. В екатерининские времена общественность участвовала в государственных делах поболее, чем нынче. Насчет коня разногласий не было. Хотелось, конечно, и корабль соорудить – основателю флота, но совместить коня с кораблем было затруднительно. На постаменте – несомненно, барельефы, конечно – Полтавской битвы, Гангута, победы при Лесной... Некоторые интеллектуалы предлагали у подножия установить аллегии с латинскими надписями. (Штелин выдвинул фигуры четырех добродетелей: Трудолюбие, Благоразумие, Правосудие, Победа. Четыре девы хороводом вокруг Петра.) Прислал свои пожелания друг и поклонник Екатерины француз Дени Дидро. У него одна дева должна была изображать любовь народа, другая – побежденное Петром варварство. Интересно, конечно, как художник изобразил бы этих особ. Из Германии прислал свои соображения историк Гердер: Петр держит в руках карту России, вокруг навалена куча математических инстру-

ментов: циркули, линейки, подзорная труба, компас и прочие доказательства того, что перед нами царь-ученый, а не просто вояка, захватчик. Немецкий историк проповедовал в этом проекте свои принципы – отвращение к войне, непочтение к героизму и всяческим героям-полководцам, осуждение государственного стремления расширять границы. Его идеал – монарх-ученый, такого монарха он еще тогда увидел в Петре. Русские, считал он, занимают на земле больше места, чем в истории, и он хотел устранить эту несправедливость – за счет увеличения места в истории.

Доморощенные российские проекты, а их было немало, Екатерина без сожаления отклонила. И памятник, сделанный Растрелли при жизни Петра, ей тоже не подходил, слишком спокоеен, завершенность созданного. По совету Дидро она пригласила из Франции профессионала, известного скульптора Фальконе.

Скульптор Фальконе не хотел никаких девиц, чудовищ и прочих хороводов. Для него Петр был сам по себе сюжет. Чем проще, тем сильнее. Петр не нравился многим современникам, – что ж, он сделает Петра, который видит тех, кто еще не существует и кто будет благословлять его.

Фальконе ставит скалу, на ее крутизну взбирается конь. Скала – не безразличный постамент, она сама по себе эмблема трудностей, которые Петр преодолел. Памятник-метафора. Настоящая метафора обеспечивает памятнику будущность.

Первая модель из глины обескуражила Штелина. Идея умственная, слишком отвлеченная: всадник на коне, конь на скале и более ничего. А где же рассказ о заслугах царя, о том, чем ознаменовано его царствование?

Он принялся вразумлять француза: Россия к памятникам не привыкла, русскому человеку надо растолковать что да как – понятными иллюстрациями, текстом. Показал Фальконе свои проекты, мастерски исполненные аллегорические фигуры, кольцом окружающие Петра. Надписи по-латыни и по-русски – перечислялись одна за другой победы, свершения. Привел анекдоты из своей коллекции. Анекдоты позабавили Фальконе, история же побед и реформ ему быстро наскучила.

– Зачем мне это? – сказал он, потягиваясь.

Хоровод аллегорических девиц – Слава, Победа, Премудрость и прочие – вызвали у него смехок: Петр, нормальный мужик, должен на них заглядываться со своей скалы, грудки-то торчат совсем не аллегорические.

Бесстыдно подмигивая, он рассуждал, как сократить жеребьячи принадлежности вздыбленного коня.

Штелин обиделся. Неужели француз не понимает, что перед ним крупнейший знаток, ему бы прислушаться, благодарить, он же ухмыляется, будто ему известно нечто иное. Потом сказал, что Штелин, как анатом, вскрыл труп и думает, будто узнал человека. Перечень дел Петра – это еще не Петр.

Штелин не отставал, продолжал уговаривать, пока Фальконе не выдержал и, схватив его за отвороты сюртука, затряс:

– Каким он был, твой Петр, никто не знает. Он будет таким, каким его сделаю я, Этьен Морис Фальконе! Таким и станут знать Петра потомки, запомни!

Возмущенный Штелин пожаловался Бецкому, просил обратиться к императрице, устроить на скале хотя бы барельефы, нельзя оставить памятник немой. Бецкий поддержал Штелина, но Екатерина не вняла, она была на стороне скульптора. Штелин в сердцах бросил Бецкому, что государыня заботится не о Петре, а о своей славе просвещенной европейской правительницы, подруги Дидро. Неосторожно вырвалось, себя не помнил, впервые с ним такое приключилось, слава богу, Бецкий сделал вид, что не слышал.

Бецкий был не начальник-бурбон – знаток искусства, друг французских энциклопедистов, горячий поклонник античности. Проект Фальконе – скала, одинокий всадник, взлетаю-



щий на нее, – не соответствовал античным канонам, таким образцам, как статуя Марка Аврелия. Античность, спорил с ним Фальконе, не предмет абсолютного поклонения. Прекрасное прошлое существует не для повторения. Статуя Марка Аврелия прекрасна, есть, однако, и другие средства достигнуть желаемого. Бецкий потребовал от Фальконе письменных объяснений. Тратить на это время Фальконе не желал и пожаловался императрице. Хотя Екатерина высоко чтила Бецкого, тем не менее поддержала Фальконе. Она сразу сумела оценить его замысел. Распознать в художнике талант дано не всякому, а тем более преимущества замысла дерзкого, небывалого. Русские цари время от времени в этом разбирались неплохо. Екатерина написала Фальконе, чтобы он не обращал внимания на критиков: «Вы сделаете в сто раз лучше, слушаясь своего упрямства».

Фальконе и его подруга Мария Колло как ни в чем не бывало приглашали Штелина в мастерскую на свои пирушки, благо он хорошо говорил по-французски. Всякий раз он видел, как утверждается будущий памятник. Безгласный Петр в нерусской одежде, не ведомый никому всадник, без скипетра, державы, без короны, взлетел на край скалы. Похоже на самоубийство! Подвел Россию к пропасти?..

Однажды Штелин пришел в мастерскую, когда там никого не было. Пьяный сторож храпел в углу. Большая модель памятника высилась на дощатом помосте. Низкое закатное солнце смотрело в широкое окно. Тень всадника и коня на белой стене то расплывалась, то придвигалась из солнечной дымки. Тень Штелина мелко обозначилась где-то внизу.

Невесомые тени сошлись. Конь мчался на Штелина, можно было тронуть его рукой, и всадник был рядом, узнаваемый мигом по силуэту – Петр! Солнце входило в мастерскую, гасло и вновь входило, огромный всадник и его конь надвигались, это был не просто конь – буря, пылающая жаром, никто, кроме Петра, не мог обуздать такого коня, эту стихию, сдержать ее над бездной.

Воля – вот чего всегда не хватало России, вот что внезапно увидел Штелин – воплощение воли! Идея личности Петра открылась Штелину, об этом он подробно написал своему другу в Лейпциг. Государь этот имел три качества, нужных для успеха: знал, что нужно, как это делать, и действовал непреклонно! Сам ли он высмотрел ее в памятнике, или же она была задумана скульптором, не важно, – важно, что эту суть он прочел без надписей, без аллегорических фигур, они все вошли в него, все победы Петра, реформы, одоления...

Тень не нуждалась в деталях, она была идеальным обобщением. До сих пор Штелину не удавалось определить характер Петра – вспыльчив, но и дьявольски терпелив, умел ждать и не умел ждать, то скуп, то щедр, то остроумен, то пьяно туп. Что он был за человек? На этот вопрос Штелин обычно отвечал, что гений непостижим, гений не следует логике, гению диктуют не знания, не обстоятельства, его ведет божественное озарение, неведомое прочим натурам.

Фальконе на это пожал плечами – скульптору эти пышные слова ничего не дают. Его материал – глина, а не слова.

Нахальный француз, грубиян, выпивоха, зубоскал – он постиг, его осенило! Глина! За что, спрашивается, этому прощелье такая милость, почему ему достался Божий промысел? Несправедливо!

Вдоль стен на полках стояли бюсты Петра, Екатерины, самого Фальконе, Дидро – вылепленные Колло. Тонированная голова Петра выделялась своей мощью.

На глазах Штелина один за другим сменялись правители, государыня Екатерина пятой была – каждый был понятен, явление же Петра чем дальше, тем становилось загадочней. Как он мог из духоты ленивого кремлевского быта, из вялой замкнутой российской жизни взлететь – этот стремительный вихрь, закружить всех, увлечь... Откуда такая тяга к просвещению, отказ от царской роскоши, как появился этот сгусток энергии, эта стрела, пущенная невесть кем... Однажды Ломоносов сказал Штелину: «Следы Петра надо искать не в прошлом, они идут к нам из будущего».

В том же письме в Лейпциг Штелин признавался, что готов был разбить гипсовую модель памятника, о, если бы этим можно было уничтожить творение француза! Но созданное не разбить, памятник существовал в сознании не только Фальконе, он обосновался в сознании самого Штелина, изгнать его оттуда уже невозможно.

И все равно хотелось его уничтожить.

Признать Фальконе гением было невозможно. Штелин ожесточенно поносил француза, не только в этом письме, повсюду он доказывал, что Фальконе не сумел слепить голову Петра сам, потому что он посредственность, что пьедестал нелеп, что памятник не русский...

Вокруг надписи на постаменте тоже разгорелись страсти. Предлагали перечислить все заслуги Петра, его таланты, хронику побед. Вышито, велеречиво. Фальконе же искал в надписи соответствия лаконичной простоте памятника. Дидро прислал самый краткий текст:

«Петру Первому посвятила памятник Екатерина Вторая. Воскресшая доблесть привела с колоссальным усилием эту громадную скалу и бросила ее под ноги героя».

Скалу действительно доставить в Петербург стоило трудов чрезвычайных.

Фальконе, подумав, решился упростить эту надпись, несмотря на все свое почтение к Дидро.

«Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая». Как говорил другой великий ваятель, классик Древней Греции: «По когтю узнают льва». По краткости, найденной Фальконе, можно понять, насколько верил он, что памятник не нуждался в словесной поддержке.

Надпись показали Екатерине, она взяла перо и вычеркнула глагол, оставив предельное: «Петру Первому Екатерина Вторая». Это было не просто сокращение, она вплотную приблизилась к Петру, расширила смысл, речь шла уже не только о сооружении, а о продолжении дела Петра: Первому – Вторая; сказался и вкус ее, и политический талант. Ее памятник, он и ей памятник.

В Медном всаднике все совпало: и Петр, и Фальконе, и Екатерина.

– И Пушкин, – вырвалось у Сергея.

Но Молочков не услышал. Он продолжал про другие памятники Петру – в Таганроге, в Выборге, по его мнению, все они замечательные, не Фальконе, но все равно... Однако анекдот заключался в том, что история с надписью имела продолжение.

После смерти матушки ее нелюбимый сын, взойшедший на престол, Павел Первый, решил установить собственный памятник Петру перед своим новым дворцом в Петербурге. Вспомнили об отвергнутом памятнике работы Карло Растрелли, отца архитектора Растрелли. Работу над этим изваянием скульптор начал еще при жизни Петра. Екатерину не устроил величественный покой конной статуи императора, задумчивость всадника в одежде римского цезаря. Павлу же нравилось то, что не нравилось матери. Статую извлекли из сарая, очистили от грязи и водрузили. Надпись Павел придумал самолично в пику Екатерине: «Прадеду правнук», указывая тем самым на свое прямое родство с Петром, Екатерина же как бы исключалась, не имела русских корней, пришлая... Такая вот дуэль произошла.

Несмотря на свое восхищение Медным всадником, учитель признавал и памятник перед Михайловским замком. Там, на барельефе в сцене Полтавской битвы, рядом с Петром изображен Александр Меншиков. По-видимому, единственное тогда изображение Меншикова. Вообще-то сподвижники Петра заслуживали большего.

Русские друзья спрашивали: продолжает ли Штелин собирать анекдоты? С какой стати, отвечал он, разве он получил заказ? Но как же так, он всегда объяснял, что собирает их потому, что печется о славе России и Петра. Он вдруг ожесточился – с какой стати? никто из русских ведь не печется о славе Саксонии или Пруссии. Фальконе старается, потому что ему хорошо платят. Ему, Штелину, платят за иллюминации, и он делает это лучше других.

Ну что ж, это было всем понятно. Никто не удивился, когда он принялся печатать граюры с описаниями устроенных им торжеств, ибо немало великих событий осветили его

потешные огни. На хорошей бумаге, отлично исполненные гравюры. Описания пользовались успехом. Граф Алексей Орлов заказал Штелину семьсот штук описаний того праздника, когда Екатерина пожаловала к нему на новоселье. Гравюры запечатлели затейливые выдумки Штелина – фонтаны огней, горящие вензеля, вертелись маленькие мельнички. Граф дарил описания гостям и приближенным.

Штелина охотно приглашали на званые обеды, на приемы, он не докучал учеными разговорами, преподносил свои произведения с автографом: «конференц-секретарь академии», так что придавал обществу легкий блеск учености. Он упивался успехом.

Все похвалы, все знаки внимания он тщательно собирал, записывал. Показывал сыну, жене, друзьям. «Ученый художник» – называл он себя. С гордостью перечислял, где, кто требует его участия. Его деятельность: «не освещение, а просвещение». Он ведает изданием календарей.

Иногда Молочкову казалось, что Штелин из всех сил старается доказать свои научные успехи и художественные таланты. Кому доказать?.. Для кого собирались, аккуратно подписывались все эти свидетельства? Никто так и не удосужился разобраться в его наследии.

В академии Штелин вскоре привык чувствовать себя хозяином, командовал тоном, принятым вельможными чиновниками, после смерти Ломоносова никто ему не смел перечить, разве что Леонард Эйлер. С ним, вернее, с его сыном у Штелина произошло неприятное столкновение. Эйлер недавно потерял второй глаз, полностью ослеп, сын служил ему поводырем. Однажды, сидя в приемной, сын выразил возмущение: вторую неделю его отец добивался аудиенции у Штелина и сейчас уже несколько часов они сидят, ожидая приема, понимает ли Штелин, кто такой Эйлер и кто в сравнении с ним Штелин с его фейерверками и бездарными стишатами. Все это и многое другое произнесено было в голос, прилюдно, в присутствии многих именитых людей. Штелин накричал на него, как бы ни был знаменит Эйлер, он обязан подчиняться порядкам академии, и не ему судить о заслугах Штелина, на сей счет есть более высокие особы.

Сам же Эйлер в черных очках отрешенно сидел в сторонке, занятый решением задачи по теории упругости. Слепота, по его словам, помогала ему сосредоточиваться.

Случай этот усилил оппозицию Штелину.

Молочков был убежден, что вхождение во власть никого не делает лучше, власть всегда портит человека.

Новым президентом академии была назначена княгиня Дашкова.

Штелин явился к ней на доклад. Перед княгиней лежала стопа его описаний фейерверков. Дашкова небрежно перелистала их и сказала, что подобные труды не делают чести ни академии, ни Штелину. Они не имеют отношения к истории, задача академии – изучать отечественные летописи, негоже, когда в академии командуют забавники, когда деньги тратят на прославление потех.

Но это же исторические свидетельства, защищался Штелин. Дашкова не терпела возражений, но и Штелин не желал сдаваться.

На ближайшем заседании Дашкова вошла в зал, держа под руку академика Эйлера, подвела его к председательскому столу, где сидел конференц-секретарь Штелин и прочее начальство, и попросила освободить кресло для великого математика, ибо такие люди должны украшать академию, им сидеть на почетных местах, а не профессору иллюминаций и прочих пустых занятий, иначе сама академия станет аллегорией мнимой науки.

Речь ее звучала беспощадно, это был хороший повод заявить о новом порядке, показать себя.

С того дня к Штелину прилепилось прозвище «профессор Фейерверкин». Над ним злобно посмеивались, анекдот пересказывали при дворе, княгиню хвалили, поскольку она нахо-

дилась у императрицы в фаворе. Слава Штелина истаяла в два дня, авторитет, нажитый десятилетиями, рухнул.

Профессор аллегорий, фейерверков, давно погасших огней. А ведь казалось, что удачлив, сумел приблизиться к трону, удостоивался внимания императрицы. Добился, достиг. Хвалился перед покойной женой. Даже над Михайлой Ломоносовым чувствовал превосходство.

Штелин пытался получить аудиенцию у императрицы. Напрасно... «Лучше, милый мой, не трепыхайся», – сказал ему граф Орлов.

Наступила новая пора жизни. Он заперся дома и ждал, когда его позовут. Водянка, что его донимала, обострилась. На празднествах обходились без него. С какой легкостью он, казалось, незаменимый, был вычеркнут из обихода, – остался лишь анекдот, маленькое украшение биографии Дашковой, не более того. Штелин, казалось, сошел к теням прошлого.

Мы все еще не понимали, для чего Молочков препарировал эту жизнь, показывал нам, как близость власти «то вознесет его высоко, то в бездну бросит без следа». Школьный урок о суетности славы? Поучительное повествование не имело завершения, куда-то оно все же вело, не могло кончиться вот так, угасанием.

Что-то заставило Штелина выйти из этого состояния, но что именно, Молочков не знал. Однажды Штелин словно очнулся и ринулся разыскивать свою заброшенную коллекцию. В биографии каждого человека случаются однажды непонятные решения, поступки, совершенные по наитию.

Начиная с этого дня Штелин встал за конторку, приводя в порядок свои записи. Сокращал, убирал позолоту, верноподданническую мишуру, отсекал все лишнее. Уставая, ложился на диван и лежа продолжал работать как одержимый. Садился за стол, сидел до поздней ночи, отекавшие ноги давали о себе знать.

Что побуждало его, Молочков не знал. Будь на месте Молочкова сочинитель, которому про героя все известно, можно было рассказать про вещий сон, это всегда эффектно. Посетило ли его видение Петра, потребовало ли закончить работу. А может, привиделось будущее, оно ведь тоже подает знаки.

Но Молочков честно обозначил свое неведение.

Штелин спешил, страх подгонял его, никто, кроме него, не смог бы разобраться в давних его торопливых записях, сокращениях. Коллекция зияла дырами, пучилась повторами. Он отбирал лучшее, то, что отличало Петра от прочих государей, тем более российских. Теперь было видно – упустил про Тайную канцелярию, Ушаков мог бы много рассказать и про Всешутейший собор. Упустил итальянца Паоло, как его там, который вместе с Петром делал проекты дворцов вокруг Петербурга. Нашел начало рассказа покойного Федора Соймонова, обер-прокурора Сената, так и не завершил, надо было съездить к нему в Ропшу, да все было недосуг. Годы сгорели на проклятых фейерверках. А небо все так же чисто, никаких следов былых огней, величественных картин.

Глуховатый генерал Василий Ртищев, стольник петровский, участник юных походов царя, в их роду ходило немало легенд о царе, братья, дядя служили Петру комнатными стольниками, учились в Италии, знали сокровенные дворцовые дела. Сам напрашивался к Штелину, ждал, ждал и не дождался.

Чем же он был так занят, статский советник, его высокородие? Черт его знает, не вспомнить. Дня не нашлось...

Врачи ничего не могли сделать с его водянкой. Живот стал огромным, Штелин весь распух, ноги как две колоды. Он подгонял себя, не считаясь с запретами врачей.

Всего набралось около полутора десятков достойных анекдотов. Изложенные на его родном немецком, они выглядели малой стопкой по сравнению с кипами черновиков. Не откладывая, решил послать отобранное на отзыв князю Щербатову, знатоку русской истории, сенатору.

Князь прочел быстро, немецкий знал хорошо, рукопись ему понравилась. Он усмотрел остроумие, неизвестные до того добродетели Петра, главное же, убедился не в свирепости, а в терпимости Петра. Он сам давно доказывал, что зря винят Петра в непомерной строгости, не употребил бы Петр палки, так еще двести лет дремала бы Россия на лежанке, упивалась бы своим святым невежеством и высокой миссией. Князь рекомендовал издать анекдоты книгой «В наставленья государям».

Известно, что ее величество государыня Екатерина Великая наставлений ни от кого не терпела. Намек был дерзкий.

Прослышав о рукописи, издатели из Голландии, Германии, Франции слали предложения. Русские издатели выжидали. Штелин кое-что дописал, исправил. В одном из писем в Лейпциг он удивлялся себе – откуда силы брались, судя по страшному виду своему, он должен был уже умереть. Но было еще одно дело – он хотел увидеть открытие памятника, приуроченное к столетию вступления Петра на престол. На торжества Штелина не пригласили, он поехал сам. На устланные коврами ступеньки Сената допущен не был. Стоял в толпе, опираясь на палку. Тысячи заполнили площадь, напротив, через Неву, на Васильевском, тоже теснились зрители. Императрица прибыла на яхте, прошла по красному сукну к своей ложе. Пройдя мимо Штелина, скользнула глазами, не узнав.

Августовский день, теплый, тихий, был полон блеска воды, оружия, позолоты. Преображенским полком командовал Потемкин в петровском темно-зеленом мундире. Он подал сигнал. Забили барабаны, заиграли трубачи. Взгляды устремились к дощатым ширмам. Веревки натянулись, ширмы отпали.

Единый вздох и слитный произвольный крик «ура!» и опять «ура!». Творилось что-то невероятное, большинство людей впервые в жизни видели памятник. В сущности – то был первый памятник в России. Грянули залпы орудий. Полки двинулись торжественным маршем. Императрица встала, принимая парад. Но все смотрели на памятник. Многие плакали.

– Подобного открытия памятника больше не было, – сказал Молочков, – и не будет.

Опираясь на слуг, Штелин приблизился к подножию памятника. Цветы, венки, маленькие букеты, ленты... Слезы текли по его щекам. Он благодарил Господа за то, что дожил до этого дня. Увидев князя Щербатова, спросил, где Фальконе.

Скульптор пребывал в Париже, его не пригласили.

– Как же так?

Князь прищурился, хмыкнул в толстые усы:

– Праздник-то чей? Ее величества! Спросил: издает ли Штелин свою рукопись?

– Отправил. В Лейпциг. И надеюсь, что книга побудит других искать еще разные истории о Петре. Сегодня я увидел, князь, как людям нужен образ правителя, кого можно любить. Чтобы в пример ставить.

– Много таинственного связано с этим памятником, – сказал учитель. – Фальконе уехал, так и не увидев его заверченным. Пушкин так и не увидел «Медный всадник» напечатанным. В десятилетие со дня открытия памятника под брюхом коня оказалась черная коза, привязанная к змее. Что сие означает, никто не знал. Дважды еще она появлялась... В блокаду хотели памятник снять и увезти в укрытие, чтобы сохранить от бомбежек. Но появился какой-то старичок и сказал, что если Петра уберут, то быть городу пусту, и так это сказал, что памятник оставили, только мешками с песком завалили...

– Между прочим, у Пушкина Александра Сергеевича отношение к этому кумиру на бронзовом коне было двойственное, – сказал профессор.

– Памятник – это метафора, каждый понимать ее волен по-своему.

– А я бы другую метафору для Петра придумал. Герб. Два скрещенных топора, один плотницкий, другой палаческий.

– Виталий Викентьевич, профессор нарочно заводит вас, – сказал Сергей. – Кого еще нам любить в русской истории, если не Петра?

– Логично, – сказал Гераскин. – Нам бы еще одного или двух таких, как Петр, и никаким Америкам нас не догнать.

– Нет уж, увольте, хватит, – сказал профессор. – Пожить бы без вождей, царей и идей.

Учитель признался, что ничего плохого в монархизме не видит. Пример Петра как просвещенного монарха много значил для всех русских царей. Но еще больше значил человеческий пример Петра, пример того, сколько может успеть за свою жизнь правитель, какие горы своротить, когда у него есть светлая цель. Феномен Петра заключается в его воле. Способных правителей в России было много, но воли им не хватало. Помогал Петру и его инженерный талант, поставив цель, он находил наилучшие пути к ней. Знал, как флот надо строить, знал, чем армию вооружить, что молодежь надо посылать учиться за границу.

Двести лет в России спорят, был ли Петр благом для России или же бедой. Толкнул ли он Россию вперед либо назад. Не нравится, что он традиции нарушил, оставил Россию без кафтанов и бород, учиться заставил. Екатерина Великая, которая дела российские знала лучше наших славянофилов, говорила, что, не будь петровских реформ, Россию поборола бы склонность к старым порядкам и еще сто лет не стащить ее было бы с лежанки. Еще она говорила, что, как бы Петр ни был вспыльчив, истина всегда побеждала его гнев. Конечно, в душе его хозяйничали не только ангелы, имелись там и демоны, но он смирял их. Считают, что Россия на вызов Петра ответила Пушкиным. А Петр, откуда он взялся? Он сам был ответом на вызов Европы. Александра Македонского обучал в детстве Аристотель, у Петра таких учителей не было. Он появился как вулкан, из подземных сил, накопленных веками русской дремоты.





Больше Штелин не вставал. Спустя два дня после его смерти сыну пришла из Лейпцига книга анекдотов о Петре. Вскоре стали приходить издания из Парижа, Амстердама.

С тех пор книга Штелина переиздается. Двести лет ею пользуются все историки петровских времен.

Однажды на городском семинаре Молочков назвал ее лучшей книгой о личности Петра. Есть еще подобные книги – Нартова, Голикова, но книгу Штелина он считал лучшей, добавил

сюда еще книгу о Петре польского историка Казимира Валишевского. Сказал к тому, что увлекательная форма повествования бывает куда ценнее для науки, чем ученые трактаты.

Его выступление не понравилось. Как это немец и поляк могут понять Петра лучше отечественных историков? Слава богу, у нас хватает своих сочинений, отмеченных премиями, с чего бы это пропагандировать книги иностранцев. Штелин – типичный представитель немецкой партии в России, лукавый царедворец, его книга полна подлогов.

Профессор аллегорий и фейерверков – какой из него историк?

«Позвольте, но все ее цитируют и будут цитировать», – настаивал Молочков... Его не слушали, ему говорили: «А ваш Валишевский смакует порнографические сплетни в духе западного читателя!»

Молочков не соглашался, Валишевский – темпераментный историк, талантливый стилист, не в пример нашим сухарям, он чтит Петра выше Наполеона, тот только величайший француз, но не был всей Францией, Петр для Валишевского – вся Россия, ее плоть и дух, страсть и гений. Якоб Штелин – образец добросовестности, у него не может быть подлогов, да, есть у него спорные факты, кстати до сих пор не опровергнутые. Его труд основан на первоисточниках.

– Мы не умеем быть благодарными, – твердил он. – Особенно иностранцам. Неблагодарность – наша русская черта, чтобы иностранные ученые превосходили наших – ни за что!

Беда Молочкова была в том, что он, как шахматная ладья, мог двигаться лишь прямолинейно. Отчислили его из института с отрицательной характеристикой – «политически невыдержанный». При этом все в институте жалели его и винулись перед ним, говорили: «Ты должен нас понять». Когда увольняли из школы, тоже вздыхали, любили его за доброту и, как ни странно, за правдолюбие, то есть за то самое, за что увольняли.

Заговорили о том, можно ли считать книгу Штелина объективной. Почему он исключил анекдоты неприглядные? Были же с Петром истории стыдные. Были, подтвердил Молочков, было несколько совершенно неприличных историй, услышанных Штелином от императрицы Елизаветы Петровны. В том числе про Марию Гамильтон, еще про некоторых фрейлин. Государыня рассказывала в подпитии, и Штелин ссылаясь на нее весьма осторожно. Была история про письмо Карлу, довольно-таки похабное, про затеи, учиненные с тремя фрейлинами. Считалось, что все это Штелин уничтожил, но Молочкову удалось кое-что разыскать. Публиковать не стал, в диссертацию министерскому прохиндею, конечно, не включил, да и вообще не решил, стоит ли нарушать волю и замысел Штелина.



## Глава вторая

### Про бедного Ивана Нарышкина

Для работы на верфях в Адмиралтейство прислали мастеров, собранных отовсюду. Петр приказал их выстроить, лично стал обходить строй. Адмиралтейские службы только складывались. Петр ценил свои корабли и не жалел времени узнать будущих работяг, придирчиво расспрашивал каждого – кто такой, откуда, что делал, что умеет. Дойдя до одного усатого краснорожего матроса, он остановился, ничего не говоря, начал вглядываться, пригнулся и вдруг отпрянул. Свита замерла, никто из приближенных не видел его таким напуганным. Петр закрыл лицо руками, снова открыл, задрожал, словно встретил призрак. Матрос этот побледнел, опустил голову, сжался. Офицеры на верфи знали его как исправного работника, замечаний он не имел, на днях его произвели в боцманы. Но тут, хотя и не понимая, что происходит, старший офицер подскочил к нему, заставил поднять голову, смотреть на царя.

Смотреть на Петра было страшно – губы его дергались, голова тряслась, с трудом справился с собою, спросил хрипло:

– Ты из стрельцов?

Тот что-то забормотал.

– Отвечай!

– Да, государь... Из стрельцов.

– Из тех?

– Нет, нет! – в ужасе закричал матрос.

– Врешь! Это ты!

Петр взял его за ворот рубахи, выдернул из строя.

– Ты убивал Ивана Нарышкина!

Он не спрашивал, он выкрикнул.

Ноги матроса подвернулись, он повалился на землю, обхватил ноги Петра, завыл истошно, по-звериному.

Петр никогда не мог забыть этих стрельцов. И тех, кто приставил лестницу к крыльцу, и тех, что перебрались через решетку, оттолкнули матушку и сбросили на пики Михаила Долгорукого, за ним подступили к боярину Артамону Матвееву, вырвали его из рук царицы и, раскачав, тоже швырнули на подставленные пики. Струи крови брызнули во все стороны. Вопли несчастных смешались с ревом стрельцов: «Любо! Любо!» Забили барабаны, бердышами рубили на части тела бояр. Петр с братом Иоанном стояли на крыльце, застыв, смотрели, как отсекают руки, ноги, кидают на белокаменные плиты, сапогами топчут горячую плоть, танцуют в осклизлой кровавой каше.

От ужаса у десятилетнего Петра свело руки, ноги, лицо закаменело, он не мог открыть рта, это был столбняк, его унесли.

Братья знать не знали нитей заговора Милославских, родных первой жены царя Алексея Михайловича, не знали, что их партия старалась убрать от власти партию Нарышкиных, второй жены царя, то есть нынешней царицы, матери Петра, чтобы расчистить дорогу Софье, дочери царя от первого брака. Душой заговора был Иван Михайлович Милославский, опытный придворный интриган, он-то тайно и направлял бунт стрельцов. Так тайно, так осторожно, что только через пятнадцать лет случайно раскрылась полностью его роль.

В памяти слепящей вспышкой остались лица стрельцов, вопящих у кремлевского крыльца. Они ворвались в царские покои. Царица Наталья еле успела обоих царевичей – своего

сына Петра и пасынка, шестнадцатилетнего Иоанна, – спрятать в церкви. Там перед алтарем их настигли двое пьяных стрельцов, кинулись с ножами. Кто-то крикнул, что у алтаря кровь проливать нельзя, они замешкались, заругались, и царица Наталья увлекла царевичей в задние комнаты дворца.

Ловили одного за другим бояр, особо охотились за Нарышкиными, всю их партию по списку, всех, кто их поддерживал, указано было перебить. Для того и деньги давали, и поили. В те дни шестьдесят с лишним бояр изрубили, трупы волочили за ноги на Красную площадь, там бросали собакам и воронам. Более других искали Ивана Нарышкина. На него наговорили, что он собирается отравить царевича Иоанна. Метит сам стать царем, нарядился в царскую одежду, надел корону, стал хвалиться, что никому другому так не идет корона, как ему. Софья подтверждала, когда она забрала Ивана Нарышкина за такое, он кинулся на царевича Иоанна, схватил его за горло, чтобы задушить, спасибо, Софья отбила.

Царица Наталья спрятала своего брата. Его не нашли. Царица заверила стрельцов, что не знает, где Иван Нарышкин. Держалась твердо. Страшные сцены бойни не сломили ее духа. Ей удалось уговорить стрельцов уйти.

Вечером стрельцов снова поили в кабаках, разъясняли им, что царица обманула их, спрятала брата, а он всему злодейству голова.

После убийства Матвеева главную угрозу Мирославские видели в Иване Нарышкине. Молодой, энергичный, способный, он служил опорой Наталье, к тому же еще успел завоевать любовь маленького Петра. Недавно назначенный оружейничим, заказывал мальчику для военных игр деревянные пушечки, копья, помогал в играх. Карьера его многих бояр обижала, слишком проворная. После смерти царя Федора Алексеевича и года не прошло, спехом спешила царица пристроить своих родичей, осуждали ее – «легка умом, торопыга».

Нарышкина запрятали в чулане, заваленном пуховиками, перинами. Дверь чулана оставили приоткрытой, дабы не возбуждать подозрений. Про то, что Нарышкин укрыт во дворце, кто-то донес Софье, от нее и пришло к стрельцам; разъяренные обманом, они наутро вызвали на крыльцо царицу, заявили, что, если не выдадут им Ивана Нарышкина, они перешарят все царские покои, бояр не пощадят, самой царице не поздоровится.





Царица удалилась в слезах, Софья приказала стрельцам обождать, пошла в палаты, где собрались бояре, сказала при всех Наталье Кирилловне, что ее брату Ивану от стрельцов не уйти, если не отдать его стрельцам, все погибнут.

Перепуганные бояре молили царицу согласиться. Петр видел, как мать рыдает, как Софья ведет ее почти силой в церковь Спаса. Наталья Кирилловна велела брата привести туда. Он

пришел, она, рыдая, просила простить ее. Иван понял, что это означает, он мог бы попытаться бежать, много выходов было из дворца, но он согласился – его приносили в жертву, и он пошел на эту жертву.

Исповедался, причастился.

Бояре неотступно стояли у входа в церковь, ждали. С площади доносился нетерпеливый барабанный бой, глухой гул толпы.

– Смерти я не боюсь, – утешая сестру, сказал Иван Нарышкин. – Хочу одного, чтобы моей смертью кончилось кровопролитие.

Царица обняла его, целовала, не могла оторваться. Софья принесла образ Богоматери, царица приняла от нее образ, передала брату. Софья уверяла, что стрельцы устроятся образа, пощадят Ивана. Она всячески показывала, что не причастна к бунту, видно, опасалась за успех, бунт противозаконный, утром зеркало в спальне треснуло. К обреченности... но пока был обречен Иван Нарышкин.

Бояре нервничали, торопили их – стрельцы не вытерпят, вот-вот ворвутся.

Иван Нарышкин поцеловал образ, поклонился всем, сестре, обоим царям особо и вышел, неся перед собою образ.

Стрельцы потащили его в застенок, потребовали признаться, что он хотел умертвить царя Иоанна Алексеевича. Им надо было оправдать свой разбой. Они уже чувствовали, что за бесчинство придется нести ответ. Признание Нарышкина многое значило бы. Но Нарышкин отрицал вину, не брал на себя грех. Его принялись пытать, пытали жестоко, подвешивали, ломали суставы, надеялись, что оговорит себя. Он отмолчал, не поддался. Тогда его вынесли на Красную площадь, разрубили на части бердышами.

После казни дяди Ивана мальчик свалился в горячке. На всю жизнь у Петра остались припадки, судорога набегала, кривила лицо жуткими гримасами, он дергался, вытаращивал глаза полоумно. Ужасы, насилие запечатлелись прочно в детской памяти, отпечатались навсегда лица стрельцов, картину счастливого детства залило кровью, завалило кусками мяса, отрубленными руками на талом кремлевском снегу.

Спустя двадцать с лишним лет он все же узнал в боцмане одного из тех стрельцов.

Боцман признался, как после разгрома бунта он бежал, много лет скрывался на севере под Архангельском, потом поступил в Архангельское адмиралтейство, сказавшись сибирским крестьянином. Когда Петр приехал в Архангельск проверить оборону города, он поспешил укрыться, здесь же не сумел, надеялся, что царь позабыл, не узнает его.

Но у Петра тот страшный день отпечатался неизгладимо. Хотел бы забыть, да не мог, ничего не забыл. Добрая жизнелюбивая натура мальчика надломилась, стрелецкий топор расщепил задуманное творцом чудо...

Последствия зверств долго не утихали. Вокруг ребенка все клокотало мстью. Приближенные Натальи Кирилловны проклинали Софью, жили в ожидании новых казней, кругом Петра опустело, не у кого было искать защиты, за несколько дней от большой родни ничего не осталось, всех порубили. Мать жила в тоске за сына, он один оставался ее надеждой, один был залогом возмездия. Атмосфера дворца, пропитанная ненавистью, отравляла душу мальчика. Жили под занесенным топором. Стрелецкая смута повторилась, когда Петру было семнадцать лет. Ночью, заспанный, в ночной рубашке, вскакивает он на коня и мчится из Преображенского под защиту стен Троицкого монастыря. Бегство паническое, унижительное, понятное. Запах крови преследовал его, в Кремле за каждым углом мерещились стрельцы. Нужны были исполнинские силы, чтобы выбраться из трясины ужасов. Жажда мести не ослепила его, страхи не обессилили. Но демоны поселились в его душе.



Всю жизнь ему снились кровавые кремлевские побоища. Только водка позволяла забыться глухим сном. Видения прошлого без спросу врываются в царскую жизнь. Бывало, что Петр клал рядом денщика, засыпая, держал его за плечо. Так было спокойнее...

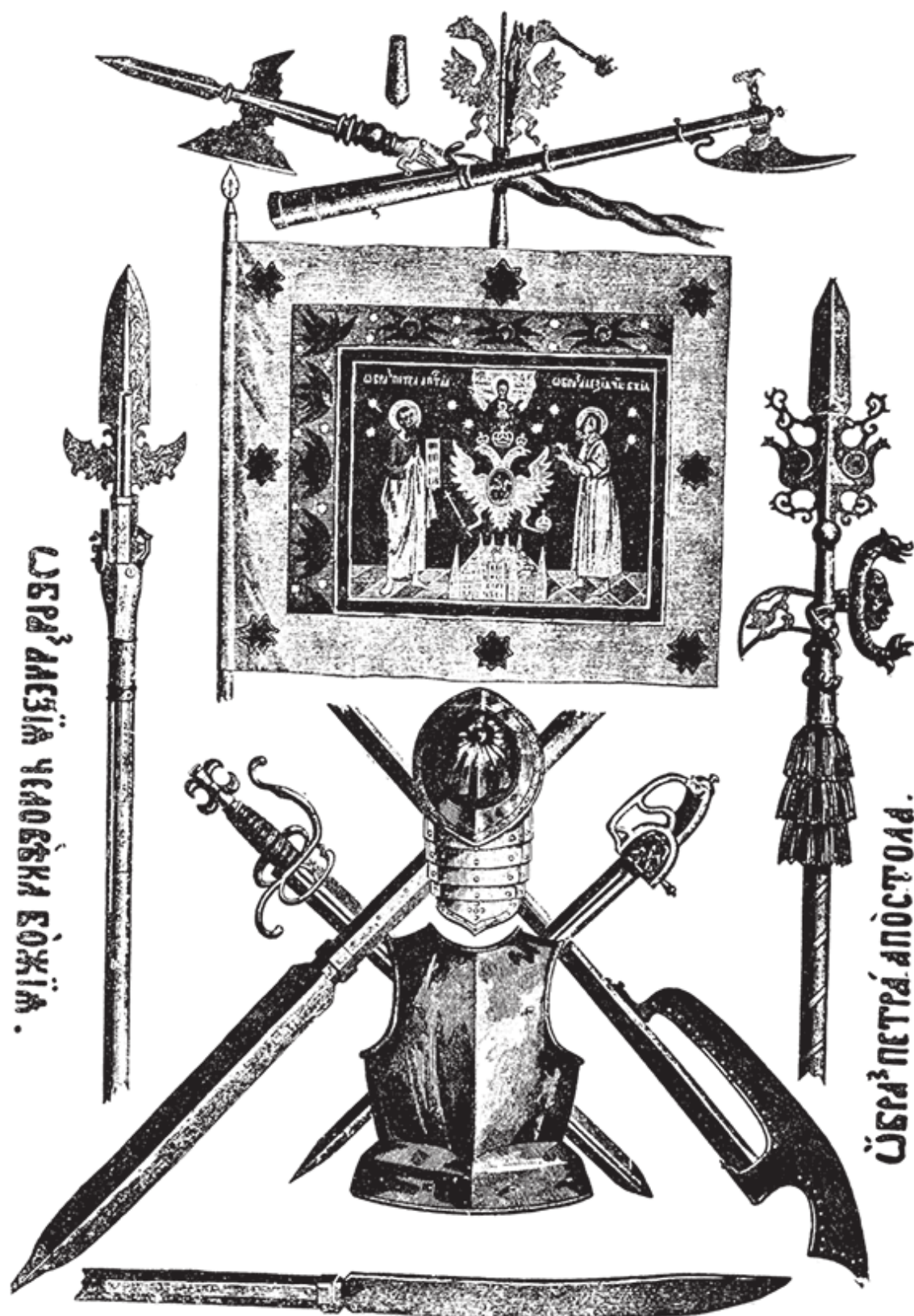
– Что было с тем матросом? – напомнили мы учителю.

– С матросом... Петр велел отправить его подальше в Сибирь, предупредил, если попадется хоть раз на глаза, казнен будет жесточайшей казнью.

Эпизод с Иваном Нарышкиным приводят в цепи прочих сцен Стрелецкого бунта. Зарубили боярина Матвеева, князя Ромодановского, список велик. Среди них образ Ивана Нарышкина возникает на мгновение и гаснет в вакханалии бунта. Никто не заметил его роли в судьбе Петра. Откажись он выйти к стрельцам, они бы устроили новую резню. Второй раз Иван принес себя в жертву, когда выдержал пытки, устоял, не дал повода продолжить бунт.

Он не догадывался, кого он спасает для России. Человеку не дано увидеть, как спустя годы откликнется его поступок, он не может свериться с будущим, оно скрыто во тьме, единственное, чем он располагает, – это тихие веления совести.

Иван Нарышкин действовал как верноподданный, жертвуя собой ради царя, – психология, давно утраченная. Для него десятилетний племянник был прежде всего русский царь, которому он должен служить верой и правдой, не щадя живота своего.



– Петр понимал, что совершил его дядя? – спросил Дремов.

– С годами все больше заботился о вдове несчастного Ивана, определил ее старшей нянькой к новорожденному сыну своему. Большая должность. Понимала и Наталья Кирилловна.

Учительствуя в школе, Молочков видел, как легко травмируется детская психика. Когда он рассказывал о том, что выпало Петру в детстве, он волновался, словно при нем калечили его

любимца, ребенка, отмеченного даром нравственного и физического совершенства, доброго прекрасного принца.

Историки, по его словам, из века в век винят Петра за жестокость, показывают, как он лютовал над стрельцами, чуть ли не самолично рубил головы и бояр заставлял рубить. Никто не видит чуда в том, как искалеченная душа его смогла все же выправиться. Другой на его месте превратился бы в истерика, изувера, его жалели бы, оправдывали. Петра же никто не жалеет.

Профессор Елизар Дмитриевич, самый ученый человек в нашей компании, как всегда, оговаривался, что в истории он дилетант, тем не менее широко известно, что Петербург построен на костях. Десятки тысяч строителей уморили. Людей царь не жалел, мерли как мухи. Окрашенный бурым прочным загаром лесовик, Елизар Дмитриевич отличался галантностью, безупречными манерами, удовольствие было следить, как они с Молочковым спорят, соблюдая все правила учтивости.

– Откуда вам известны, профессор, цифры погибших?

– Неоднократно читал в популярной литературе. Специально, извините, не углублялся, но согласитесь, это общеизвестно.

– Настолько, что принимают как факт. Мерли, конечно, только кто считал? Где документация? Я пытался найти, не нашел. Беглых было много, может, их считали... Про Петра и про Петербург много наклеветали. Петр – антихрист. Значит, и дело его дьявольское. От него мор идет.

Врагам Петра такие слухи на руку были. В глазах современников поступки Петра иногда выглядели мистическими, дьявольски жестокими.

И учитель привел такой пример.

Пятнадцать лет спустя после Стрелецкого бунта раскрылся заговор на жизнь государя. Учиненный розыск выявил целую группу стрельцов. Руководил заговорщиками стрелецкий полковник Цыклер. Приговорили его к смерти. Перед казнью Цыклер рассказал, как Софья получала его убить Петра и как тогда оговаривали они с Иваном Михайловичем Милославским разные способы, как пробовали, как случайности мешали им. Иван Михайлович Милославский давно умер, был похоронен в трапезной церкви Николы как примерный христианин. Можно считать, счастливо ушел от кары, выскользнул, пролаза. Теперь он был недосыгаем для суда мирского.

Но для Петра не было недосыгаемого, жажда возмездия жгла его, он велел откопать гроб Милославского. Сгнившие останки погрузили по его указанию на повозку, запрягли шестью свиньями, повезли через всю Москву. Народ высыпал на улицы, ужасался, но на этом процедура не кончилась. Останки сунули под помост, на котором стояла плаха. Когда головы заговорщиков отсекали, кровь стекала на гроб Милославского...

– Не знаю, совершалась ли где еще подобная казнь, – заключил учитель.

Профессор покачал головой:

– И вы мне будете оправдывать его.

– Между прочим, я лично поддерживаю в этом царя, – объявил Гераскин. – Хороший пример. Пусть знают, что от ответа не уйдешь. Здесь не поймали, потом изловят, детей опозорят.

На сей счет Женя Гераскин был неумолим, знал бы Петр, что у нас преступников захоронили на Красной площади, и до сих пор...

Молочков согласился с ним, а насчет детей улыбнулся неопределенно, сослался на своего приятеля генеалoga, который нашел, что полвека спустя после смерти Петра одна из Нарышкиных влюбилась в одного из Милославских, и, несмотря на протесты родни, они сочетались браком.

Судьба несчастного Ивана Нарышкина вдруг побудила учителя высказаться о роли личности в истории. Когда-то он учил своих школьников, что от личности ничего почти не зависит, все решают массы, так что личность может не беспокоиться, история творится без нее. Великие люди, может, кое-что и определяют, но не само событие, а его физиономию, личность выражает потребность развития и опирается на движение народных масс. Как опираться на движение, направленное в разные стороны, Молочков не понимал и не старался понять. Ему втолковывали, что учить надо тому, что положено, а не тому, что понимаешь. Но в истории он всякий раз наталкивался на какого-нибудь деятеля – то ли он по дурости проиграет сражение, то ли вовремя цыкнет и наведет порядок. И не обязательно это великий человек. В судьбе Кутузова многое определил его учитель, обыкновенный учитель. В моменты нерешительности вдруг кто-то (случайный, смелый, трусливый, совестливый, безвольный) получает право наклонить Историю куда он хочет. Извлекая их из безвестности, учитель радовался своим находкам.

Одну из таких историй ему подарил Антон Осипович.

Происходит спецрейс из Адлера в Москву. Октябрь 1964 года. Везут Хрущева. Не то чтобы насильно, но явились на правительственную дачу и попросили. Усадили в машину, доставили в аэропорт. Незнакомые молодцы с каменновысеченными лицами, безмолвные, в одинаково песочного цвета костюмах, желтых туфлях, шляпах. Летят. Ему сказали, что на пленум ЦК, которого он не собирал. Хрущев, видимо, соображает, что к чему, потому что ему до этого были сигналы, что Брежнев что-то затевает. Не поверил. Посреди полета Хрущев вдруг входит в летную кабину и просит первого пилота сделать посадку в Киеве. Пилот говорит, что менять маршрут он не имеет права. Хрущев повышает голос: «Ты знаешь, кто я? Я генеральный секретарь, я приказываю, запроси Киев о посадке».

Сопровождающие молодцы толпились в дверях, требовали от Хрущева вернуться в салон, но применить силу не решались. Никто ведь не знал, как еще обернется дело. Хрущев был напорист, летчик как бы дрогнул, был момент, но все же не подчинился, самолет приземлился в Москве. Сверни он на Киев, события могли бы пойти по-другому.

– Выходит, этот летчик мог всесоюзную заваруху устроить? – спросил Гераскин.

– Вполне, – сказал Молочков. Ему эта история понравилась.

– Представляю, какие минуты пережил летчик, – сказал Дремов. – Может, потом всю жизнь жалел, что не послушал Хрущева.



## Глава третья

### Астролябия

Этот рассказ Молочков начал с некоторым вызовом. Мягкий его голос заранее напрягся, оттопыренные уши малиново накалились.

— У нас любят издавна повторять: «царь-плотник, царь-плотник». Прилепилось к Петру, и всех умиляет, как же, царь-государь всяя Руси и так ловко топором орудует. Памятник соответственный соорудили: царь, в рубаше, топором ладит ботик. Корабельный плотник. Поставили у Адмиралтейства. Символ! Хрестоматийный образ! На самом деле называть Петра плотником — все равно что числить Льва Толстого артиллеристом. Глупости это, никакой он не плотник!

Человек считает главным в своей жизни одно, а потом оказывается, что главным было совсем другое. У Боккаччо основной страстью была наука, он составлял энциклопедии, исследовал античные рукописи. Под конец жизни стал священником, занялся толкованием «Божественной комедии» Данте. Что осталось от всей его деятельности? Книга непристойных рассказов, их он шутя написал для одной принцессы. Дивная книга — «Декамерон». В старости он горячо отрекался от нее и все же остался на века приговоренным к ней: «Боккаччо-Декамерон».

Гёте разрабатывал теорию цвета. Льюис Кэрролл всю жизнь занимался математикой...

Подростком Петр не выказывал интереса к царским своим обязанностям. До пятнадцати лет торчал то в кузне, то столярничал, играл в войну, строил крепости, плавал на старом ботике. Судя по его юным пристрастиям, никогда бы ему не стать государственным гением. Не надень на него судьба короны...

Начав учиться корабельному делу, Петр смолил, шпаклевал, буравил, ковал, чертил и, конечно, плотничал. Сооружал фрегат «Петр и Павел» он уже не плотником, а мастером. Все это было попутно, задача у него была — не просто строить корабли, а находить архитектуру, располагать мачты, искать пропорции. Всего полгода понадобилось, чтобы он понял, что каждый мастер на голландских верфях производит собственный расчет, своим опытом пользуется, общей же науки нет. Без теории ставить корабельное дело в России, строить флот невозможно. Торговать голландцы умеют лучше всех, корабельное же дело у них поставлено эмпирически. Петру нужно было постигнуть закономерности, ибо по своей натуре он не «царь-плотник», он «царь-инженер». Как ни любя ему Голландия, он покидает ее и отправляется в Англию за корабельной наукой на королевских верфях Дептфорда. Петр изучает теорию кораблестроения.

— Царь-инженер? Это что-то новое, — подал голос из своего угла Елизар Дмитриевич.

Реплика профессора обрадовала Молочкова.

— В том-то и дело, никто этого не хочет замечать. Более того, он не просто инженер. — Учитель сделал паузу и провозгласил торжественно: — Он естествоиспытатель! Я утверждаю, именно наука его сокровенное призвание. Отсюда все остальное. Ему не дает покоя любопытство, то самое, какое движет каждым ученым, желание опробовать новое, более совершенное, узнать законы, закономерность природы, мира, чего угодно.

Историки умиляются необычному поведению царя, отмечают: для европейских монархов того времени, для Людовика XIV, Вильгельма Оранского — английского короля, Леопольда Австрийского, подобное было бы диким. На самом же деле куда необычнее другое — то, что, не имея высшего, да и просто образования, он сумел критически подойти к голландскому корабельному делу, увидеть отсутствие «совершенства геометрического». Для этого нужен врожденный талант, такой инженерный талант впервые в истории оказался на троне. В первый и последний раз.

Елизар Дмитриевич хмыкнул несколько иронично:

– Позвольте спросить, в какой области Петр ученый? Имелся у него к чему-либо углубленный интерес?

– Ах, профессор, вы же отлично знаете, что в те времена ученые были универсалами. Спустя двадцать лет после Петра взойшла звезда Михаила Ломоносова. Сокровенные научные страсти царя как бы прорвались в натуре Ломоносова, его буйный гений, весь его облик, характер породили заманчивую легенду о незаконном сыне Петра. Были к тому загадочные факты...

Ломоносова раздирали увлечения – поэзия, риторика, он и физик, он и химик, он географ, он электричеством занимается, мозаикой... Петра также тянула любознательность. Вместо того чтобы веселиться на балах, заниматься царской охотой, посещать дворцы, Петр торчит в анатомическом театре, наблюдая, как анатом вскрывает труп взрослого, а затем ребенка. Все наклонились, рассматривают рассеченный живот, лиловые кишки... а он не брезгуя голыми руками рылся во внутренностях. Что означают визиты Петра в типографии, в монетные дворы? На бумажные фабрики, где он сам пробует отлить бумажный лист?

– Всего лишь любопытство, – вставил профессор. – Похвальное любопытство неопита.

– А вас разве ведет не любопытство? – воскликнул учитель. – Зачем вы столько лет подсматриваете личную жизнь букашек? Вот и Петр... Только вам хочется открыть то, чего никто не знает, а ему надо все то, чего он не знает, вот он и сует нос повсюду, где чует наживу, ему надо привезти в Россию и газету, и апельсины, и бильярд, и залезть в человеческое брюхо, потрогать кишки, и звезды его тянут, вроде их не ухватить, а тянут. Ему надо понять, опробовать, научиться. Из тьмы, из дикости он угодил в самый эпицентр европейской цивилизации. Не ослеп, не оглох, не растерялся...

В своих поисках Молочков забирался все дальше в детство Петра. Ребенок учится и начинает быстро решать задачки. Или хорошо играть в шахматы, рисовать, строить модели. Тогда говорят, что у него обнаружились способности. Но бывает – никто его не учит, и вдруг у него появляется неудержимая тяга к чему-то. Это призвание. Редкое, счастливое свойство. Не надо искать себе специальность, все предопределено. Призвание властно ведет за собою.

Детская душа Петра созревала быстро и рано раскрывала свои возможности. Что касается военных игр, потешных войск, сражений – это естественное увлечение мальчиков. Игра в солдатики – страсть общая, разница лишь в сравнении с другими сверстниками, мальчиками следующих веков: вместо оловянных или компьютерных солдатиков Петр имел живых, «потешных солдат». Пушки были сперва деревянные, потом настоящие. Игрушечные сабли, алебарды сменялись на тяжелые металлические. Крепости становились все больше, стены выше. Но все это еще оставалось игрой.

Отделила его от остальных подростков его личная, чудная страсть. Откуда она взялась, неизвестно. Осматривая в Измайлове амбары своего деда Никиты Романова, Петр увидел старый ботик, построенный при Алексее Михайловиче для разездов по Москве-реке. Вид ботика почему-то взволновал его. Удивился его острому килю. Сухопутный мальчик, среди сухопутных родичей, словно гадкий утенок из старой сказки, обнаружил свою тайную природу. А ведь, по многим свидетельствам, Петр с четырех лет страдал водобоязнью. Как удалось от нее избавиться? Неизвестно, одна из неразгаданных тайн Петра.

Он стал расспрашивать Франца Тиммермана: что за судно? Английский бот. Где его употребляют? Тиммерман сказал, что при кораблях. А какое у него преимущество перед русскими судами? Ответ Тиммермана поразил царевича. Спустя тридцать два года Петр вспоминает об этой сцене в своей собственноручной записке:

«...Он мне сказал, что он ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело и якобы невероятно».

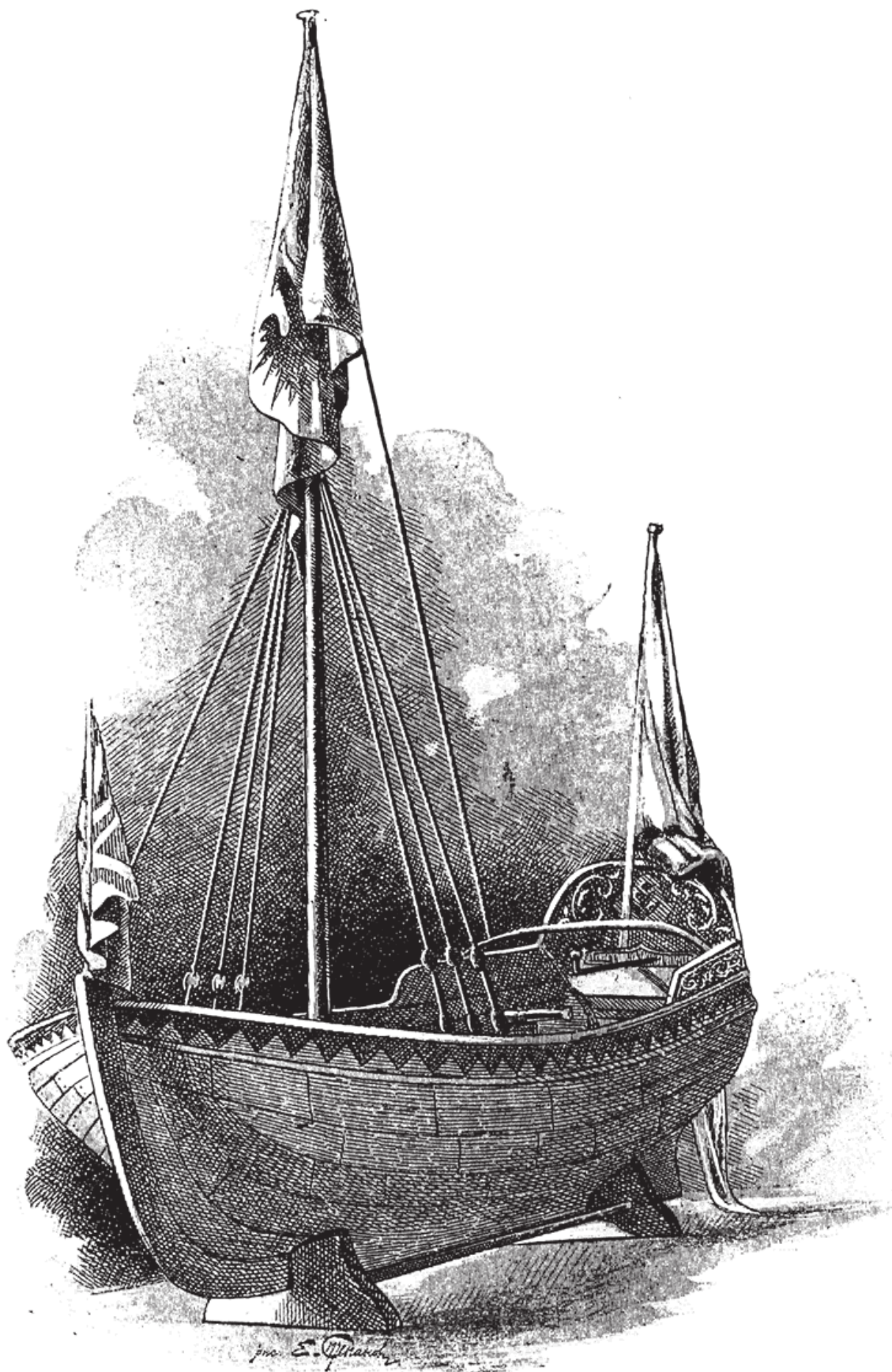
Дальше Петр вспоминает, что стал немедленно выяснять, есть ли такой человек, чтобы починил бот и показал ход против ветра. Когда Франц сказал, что есть, Петр обрадовался,

велел сыскать его, этого голландца Бранта, который был призван еще Алексеем Михайловичем для кораблестроения на Каспии.

Петр не оставил никаких мемуаров, ему некогда было заниматься воспоминаниями. Эта единственная сцена из детства, видно, так запечатлелась, что ворвалась в записку непроизвольно. Тайное призвание открылось ему, детская страсть к ремеслам, к технике вдруг сосредоточилась на этом ботике. Его захватила задача, казалось бы, противоестественная: плыть против ветра – надо было постигнуть смысл этого явления, его механизм.

Бот привели в порядок, стали плавать по реке Яузе. Лавировали, и то и дело бот упирался в берег. Из узкой речки перешли в пруд. Но и там не раскатаешься. А охота, как пишет Петр, час от часу росла. Он узнал, что Переславское озеро просторнее, и перенес свое плаванье туда. Шаг за шагом он подходил к мечте о море. Где-то на глобусе были нарисованы моря и океаны, но что это такое, он плохо представлял себе.

Старший друг Петра, один из обитателей Немецкой слободы, Франц Лефорт, швейцарец, весельчак, любезный собеседник, выдумщик на всевозможные забавы, принялся учить морское дело в угоду Петру, вырыл пруд у своего дома и показал ему сражение небольших моделей военных кораблей. Петр пришел в восторг, велел Бранту заложить два фрегата и три яхты, строить их на озере.



Было еще одно не менее примечательное происшествие. Как-то князь Яков Долгоруков рассказал царевичу, что видел за границей прибор, по которому моряки издалека определяют

расстояния между предметами. Петр попросил достать ему такой прибор. Вскоре из Франции привезли длинный ящик. Название прибора звучало красиво: «астролябия». Распаковали, но не знали, как его использовать. Стали искать, и вот тогда появился Франц Тиммерман. Астролябию развинтили, разобрали, но подросток ничего не слышал про долготу, широту, угол склонения. И так и этак разглядывал кольцо, по которому определяли широту светил, алидаду. Именования пленяли благозвучностью – лимб, секстант, нониус.

Заниматься с Петром было легко, он сам понукал голландца, выжимал из него все, что возможно.

Созвездия приблизились, звезды соединились в фигуры Стрельца, Скорпиона, Девы, Медведицы... Черное московское небо оживило. От просторов Вселенной кружилась голова. Местонахождение ботика можно было определять по берегам, но интересно было найти себя на Земле, ощутить ее размеры.

Ему нужно было море, чтобы затеряться, чтобы только звезды над головой и компас. И астролябия.

Добраться до Большой Воды удалось не скоро. Ближайшее море России было Белое море, на Каспийском Россия имела малый кусочек северного берега, всем остальным владели персы, кавказцы.

Придворные не понимали царской страсти. Сухопутные люди, они привыкли завоевывать земли. Ценностью были леса, пашни, селения. А для чего море? Откуда у юного царя появилась мечта о море – никто из его предков не плавал, не путешествовал.

И в самом деле бесполезно искать происхождение его корабельных и морских влечений в родословной. Происхождение самого гения всегда неведомо. Откуда взялся гений Ньютона – сына бедного фермера – или Леонардо да Винчи, их родословные ничего не объясняют, это не наследственность, это вспышки Природы, ее озарение, ее собственность.

Никто не следил за тем, чем Петр занят. И получилось, что вдруг, неожиданно для всех оказывается, что он каменщик, он механик, он столяр, он пишет много, быстро, хотя с ошибками, почерк у него ужасный, он не знает правил этикета, но знает строительное дело. Похоже, он станет военным инженером или кораблестроителем. Впрочем, ему этого мало. Ему все время интересно как. Если бы можно, он вскрыл бы внутренности Земли, разобрал бы на части Солнечную систему. Что там внутри? На его гербе следовало бы изобразить астролябию.

Мореплавание было наукой, полной чудес. Действительно, на озере он научился двигаться против ветра, можно было ловить ветер, работать с двумя парусами, с тремя. В те времена людям служили только сила ветра и сила воды. Понять механику этих сил было непросто.

Преподавали Петру учителя добросовестные, но случайные, знали они лишь историю, географию да Священное Писание. Ум Петра жаждал узнать, как летит пушечное ядро, как надо строить крепость, делать ее неприступной, защитить от огня, от пуль, где ставить пушки, как маневрирует корабль и что делать, если нет ветра.

Перикла обучали философ Зенон, философ Анаксагор, знаменитые ученые Древней Греции. Александр Македонский своим образованием обязан величайшему уму в истории человечества – Аристотелю, кроме того, его воспитывали представители македонской знати. В жизнеописаниях великих людей почти всегда присутствуют знатные наставники, учителя или школа, где получено было широкое образование.

Систематического образования Петру не досталось – ни школьного, ни от учителей. К престолу готовили старшего брата Федора, за ним по возрасту шел Иоанн. Никто не думал, что царствовать будет Петр. Он был предоставлен себе, рос как бы беспризорным, случайные наставники быстро исчерпывали свои знания. Ученик был слишком восприимчив, он схватывал все с лету. Сам искал себе учителей повсюду: в кузнице, в токарне, у плотников.

Он играет в войну, гуляет на веселых пирушках в Немецкой слободе. Друзья-гуляки все время отвлекают его от астролябии, от корабельного дела, от плаванья. Другие ему напоминают

о царских обязанностях. Надо усмирять новый Стрелецкий бунт 1689 года, считаться с посягательством на трон сестры Софьи. Царская корона – смертельно опасное украшение. Отказаться от нее ему не дадут, слишком много близких и родных заинтересованы в его царствовании. И военный советник Патрик Гордон, и заводила гулянок Франц Лефорт, и вся молодая компания от Ивана Головина до Кикина. Они научили Петра выпивать, плясать, петь, они свели его с красоткой Анной Монс, они же его обороняли, были с ним в борьбе против Софьи.

Кутежи, гуляния, гостьба перемежаются военными потехами. Будь поблизости море, конечно, Петр предпочел бы морские потехи. Единственный морской порт был далеко, в Архангельске. Приходится водяные битвы устраивать на Переславском озере.

Там он снаряжает морские экипажи. Больших трудов стоит оторвать его от этих забав, увезти в Москву на прием нового персидского посла.

Царская служба для него нудная повинность, настоящее дело – это корабли, паруса – гарельные, латинские, боковые, одна только парусная оснастка, искусство управления ими требует безотрывного внимания.

Кубенское озеро к половине июня обмелело, плавать на нем стало тесно, и Петр надумал поехать в Архангельск к настоящему морю. Его отговаривали. И брат, и патриарх. Иоанн напомнил, что родитель имел флот на Каспии и нечего искать других морей. Нет, Каспий не годится, из него выхода нет, Петр желал флот иметь, чтобы в Океан, в Европу выйти, с другими странами общаться.

Царица Наталия Кирилловна болела, писала сыну, тоже возбранила ехать к морю.

Письмо ее поражает силой чувств: «... в тебе веселюся, сыне мой первородне, единородне чадо... утешение мое... радость моя ненасыщенная, любовь несказанная, щедрость христиан благочестивых... не удаляйся от нас, вожденное мое чадо... Едва во вижду в смиренном вдовстве моем тебя – веселюся, и скорбь бежит от меня, не видевши же, болезную всеми моими чувствами и плачу, болезную, заливаюся непрестанно слезами... Не вдавайся, Господи, Царю страшному и ведоносному морскому пути; не изволь шествовать без пользы и потребы тебе по морю».

Материнским обожанием пылало сердце этой женщины, видимо понимавшей, кого произвела она на свет божий. Существуют великие дела, но существуют и великие чувства, считал Пушкин.

Да и бедный Иоанн тоже горячо любил своего брата и тоже пуще всего боялся за его жизнь. «Ты един светильник Российский, – писал он Петру, – аща той угаснет, и вся благая с ним имут угаснути».

Кончина матери повергла Петра в горе. Он не мог оторваться от гроба, рыдал безутешно. Дипломат Федор Головин, бывший при Петре, чтобы как-то отвлечь государя, стал предлагать ехать в Архангельск, увидеть океан, походить по морю на конвойных кораблях, сопровождая купеческие суда. Он угадал: путешествие к морю – единственное, что могло избавить Петра от печали.

Долгожданное море было совсем не то, что грезились ему, – и больше, и страшнее. Необъятность воды соединялась в мощь, с которой ничто не могло сравниться. Хмурое северное море уходило в неведомые дали. Оно звало, грозило, обещало. Отсюда можно было добраться до любых стран и земель. Распах тускло блестел, заполняя весь оком, позволял плыть неделями, без стеснения берегов, границ, добраться до теплых морей и океанов. В Белом море была совсем другая вода, чем в Двине, и пахла она иначе. Земля никогда не виделась ему такой огромной, как море. Счастье бескрайнего простора охватило его, это был праздник полной воли. «Я вижу красоту мира!» – воскликнул он.

Море стало его главной любовью. Любовь держится тайной, море – чем ближе он узнавал его, тем таинственнее становилось.

Он днями бродил по торговым причалам, заходил в конторы купцов. В порту стояли корабли с яркими иностранными флагами. Вкатывали бревна, грузчики несли бочонки икры, связки мехов, кожи. Сгружали шелка, сукна, ящики с какими-то украшениями, зеркала, краски. Подъезжали возы с пенькой, льняным полотном. Отъезжали возы. Скрипели сходни. Кричали, переругивались на всех языках. Огорчало, что в единственном русском порту не было ни одного русского корабля.

В свиту Петр взял Франца Тиммермана. На яхте «Святой Петр» вышли в открытое море. Сперва отправились вдоль порта, потом повернули в море сопровождать уходящие из Архангельска купеческие корабли. Качало. Петр зачерпывал воду, пробовал – вода была солонее, чем в порту. Наступил вечер, июльское солнце все не заходило. Петр рулил по золотой дорожке. Глаза его блестели, волосы развевались, он не отзывался на слова Франца, губы шевелились, словно он разговаривал с морем. Волна поднималась, у восточных берегов полуострова Франц заставил повернуть назад. Потом он рассказывал архангельскому воеводе Федору Апраксину, что, конечно, боялся уходить далеко на малом судне, но больше за царя, который словно ошалел, готов был обниматься с морем, а оно не любит безумств, оно требует почтения, для него нет ни царей, ни господ.

В следующий раз, через год, когда он вышел в море, Нептуново царство показало ему справедливость слов голландского моряка. То было в мае 1694 года, в разгар белых архангельских ночей. На той же яхте они плывут на Соловецкие острова. Это уже настоящее морское плавание. Приметы обещали спокойную прогулку. Город скрылся за горизонтом, исчезли берега, со всех сторон осталось море, тускло-белесое, с лиловыми разводами, мелкая волна шлепала о борт, холодное солнце катилось по пустому небу. И вдруг море словно заметило их, невесть откуда взялась настоящая волна. Такой Петр не видал, она стала швырять корабль, вздымалась над ним, обрушивалась всей массой. Буря налетела без облаков, корабль закружило, понесло, ветер менялся, хлопали паруса, Петр видел, как матросам приходится убирать в шторм нижние косые паруса. Царь схватился за руль, но опытный лоцман Тимофеев отстранил его: «Не умеешь – не суйся!» Свита – бояре, стольники, денщики в ужасе молились, плакали. Они никогда не были в открытом море, тем более в бурю. Петр не подавал виду, что испугался. Царское достоинство не позволяло, и любовь к морю, – оно испытывало его, проверяло его чувство, он должен был выдержать.

Молочков обратил наше внимание на то, что любой поступок Петра, его поведение рассматривались как царские. Смелость не считалась смелостью, поскольку он царь, он и обязан держаться спокойно. Когда Меншиков или Апраксин так держатся – это им в зачет. Он знал математику, астрономию – на то он и царь, он должен быть всезнающим. Никакой слабости проявлять не мог. Когда он ночью бежал из Москвы, оставив близких, чтобы укрыться от стрельцов в Троицком монастыре, никто не оправдывал его страха. О том, как он выскочил в ночной рубашке, – об этом шушукались с улыбочками, не делали скидок на то, что ему было семнадцать лет. Царь не имеет возраста.

Весь шторм он провел на мостике, рядом с капитаном. Буря умчалась так же внезапно. Она отрезвила Петра. Море не взбунтовалось, оно всего лишь схватило его за шиворот и встряхнуло, показав свои мускулы.

Когда они выпивали в каюте, он, смеясь, вспомнил, как персидский царь Ксеркс велел высечь море за то, что оно заштормило и потопило несколько кораблей из его флотилии. Нет, с морем надо ладить... Он понял, что оно другой мир, не подвластный земным законам и земной власти, чтобы жить в нем, недостаточно любить его, надо еще уметь подчиняться, оно как зеркало, в которое следует смотреться, чтобы познать себя. Море требует изучения.



С этого часа, можно считать, в нем многое определилось и забрезжила мечта о выходе к морю, европейскому, близкому.

– Сколько ему было? – спросил Антон Осипович.

– Двадцать два года.

– По нашим меркам – молодой специалист. Самостоятельного дела еще поручать нельзя.

– У Петра хватало советников.

Молочков покачал головой:

– Ни одного хорошего. Хорошие советы ему давали не до, а после.

– К этому возрасту душа должна созреть, – сказал Сергей Дремов. – В двадцать лет человек готов. Если он не определился с полной силой – плохо, он уже не сумеет раскрыться. Хочешь быть великим человеком – торопись. Все становились до тридцати лет. Дальше – пустоцвет. Гению, конечно, легко, его качества лезут из него, хочет он этого или нет. А вот мы, вся остальная толпа граждан, мечемся до конца дней, не находя себя. Кто найдет, тех считают талантами. Я утверждаю, что талант есть у каждого. Где-то в генах у каждого точно записано – судья, портной, хирург, шут гороховый, а этот шут проводником ездит, а хирург дом красит и никогда не узнает, что он замечательный хирург. Люди уходят, так и не став теми, кем сотворила их природа. Это величайшая трагедия человечества, самое большое наше несчастье...

В юности Петра поразило отличие Немецкой слободы от прочей Москвы. Чистенькие благоустроенные домики, ночные горшки, фарфоровая посуда, картины, салфетки – иностранцы жили не по-московски. Ровными рядами тянулись кирпичные дома, били фонтаны. На вечеринках дамы танцевали с кавалерами – гротесктер.

Немецкая слобода, которую усердно посещал с юных лет Петр, обосновалась под Москвой еще до Романовых. Там жили, кроме немцев, голландцы, датчане, англичане, шотландцы. Был у них театр, который любил посещать царь Алексей, там играла музыка, читали книги.

Благоухающий оазис европейского комфорта был вызовом, подчеркивал затхлый, византийский вид столицы. Немудрено, что в Немецкой слободе Петр дышал полной грудью, веселился, мечтал, молодой ум его посещали ослепительные проекты.

Стремление к Западу не Петром началось. Еще Иван Грозный вел политику выхода к Балтике для торговли с Европой, для кратчайших и безопасных контактов. Продолжал его дело и Алексей Михайлович. Его сподвижники Матвеев, Ордын-Нащокин стояли за борьбу со Швецией ради выхода к морю. По сути, Петр выполнял завещанное отцом. Темпы, взятые Петром, его напор, радикализм оторвали его реформы от предшественников, и стало считаться, что западничество – чисто петровская затея. На самом деле Петр придал ускорение, и от его мощного толчка Россия еще надолго сохранила движение сквозь лень и бездарность преемников Петра, вплоть до Екатерины Великой – она сумела подхватить петровский раскат.

Петру вменяют в вину неосуществленные проекты. А посмотрите, сколько лет отняла у него война, смута – извечная беда всех наших великих начинаний. Он взялся за Беломорканал, Волгодон, уральскую металлургию, флоты – военный, торговый, порты, он оснащал будущее России, строил дорогу, уходящую в века, расчищал горизонт, показывая, каковы возможности этой страны. Не все получилось при нем. Получилось позже. Быт Немецкой слободы подготовил ум молодого Петра к восприятию европейской культуры. Тем сильнее впечатлило его то, что он увидел в Германии и Голландии. Громадные замки с башнями, неприступными стенами. Уходящие ввысь своды храмов, под ними гремели могучие звуки органов. Сияние витражей. На городских башнях били часы. Масляные фонари освещали желтым мощенные камнем улицы. За каждым углом его подстерегали новшества. Играли шарманки, блестели витрины. По каналам сновали баркасы. Он не сторонился толпы, он погружался в сутолоку прича-



лов, ярмарок, любовался искусством продавцов. Заморские диковины, французские кастрюли, масляные лампы, английские компасы, подзорные трубы, пистолеты, экипажи на рессорах.

Нечто подобное испытал на себе Молочков. Когда он впервые попал в Берлин, он почувствовал себя дикарем, роскошь магазинов, обилие товаров – все удручало и обескураживало учителя. Он не представлял себе, что так хорошо живут на Западе, было стыдно за свою бедность, дикость, он не знал, как правильно переходить улицу, почему лежит Библия в его номере.

Смелость Петра в том, что он нарушил все обычаи русского двора. Никто из государей столько не путешествовал даже по России. В те времена сиднем сидели дома. Выезжать заставляла война. При Михаиле Федоровиче Романове каждого русского, хвалившего чужое государство, укоряли. Тот, кто желал ехать в Европу, считался преступником. Князя Хворостина обвинили в том, что хотел отправиться за границу. Шведские дипломаты в XVII веке отмечали – русским запрещено ехать за рубеж, опасаются, что они возлюбят чужеземные учреждения и устыдятся порядков Московии.

В Амстердаме кипучая жизнь шла на каналах города и в море, оно шумело рядом, голландцы с ним сжились, потихоньку отжимали его, отбирая у него землю. Голландцы умели ладить с морем, умели строить дворцы на сваях, строить плотины. Петр ходил в лютеранские церкви, в католические, в синагоги, осматривал памятники мореходам, рынки с невиданными восточными фруктами, тканями, африканскими масками, копьями, божками. Амстердам был самым богатым городом Европы. Глаза разбегались от оружия, драгоценностей; тюки новых товаров из Индии, Малайзии, Мадагаскара, Кипра без конца выгружали в порту. Разноязычный говор, негры всех оттенков, индусы в тюрбанах, сарацины в белых одеяниях, голоногие мавританки. Он научился курить трубку, стрелять в тире, разбираться в сортах пива.



В Голландию Петр влюбился сразу и навсегда. С тех пор оказывал предпочтение голландцам, завел себе друзей среди моряков, купцов, ученых. Во времена Петра Голландия еще

сохраняла могущество, считалась богатейшей страной, в ней процветали науки, искусства. Голландское общество, дома, где бывал Петр, были взбудоражены научными спорами, запретом книги Спинозы «Этика». В ней автор решил избавить людей от суеверия. Он отрицал существование сатаны и дьявола. В историческом романе излагались идеи Спинозы. На глазах у Петра в ратуше книги эти публично сожгли. Другой философ, Локк, выступал в защиту человека от религиозного фанатизма. Терпимость, утверждал он, – это отсутствие нетерпимости, властям не обязательно знать, как гражданин собирается достичь вечного блаженства.

Работая на верфи, Петр отказывает себе в светских удовольствиях, все свободное время уделяя кунсткамерам, анатомическому театру, новым машинам. Он прослышал об изобретателе микроскопа и отправился к Антони ван Левенгуку посмотреть прибор.

Его вело любопытство чистое, без каких-либо практических побуждений, то любопытство, которое рано или поздно приводит к размышлению. Инстинктивно он определял среди множества новинок самое примечательное. Революция, произведенная изобретением Левенгука, была еще впереди.

Возможностей микроскопии никто по-настоящему не представлял. Петр просто любовался неведомой жизнью, что открылась за пределом обычного зрения. Это была другая вселенная, микромир, такой же бесконечный, как звездный. Прибор Левенгука демонстрировал новое торжество разума.

Кровообращение в медицине да и в науке о животных представлялось таинственным явлением. Как оно происходит, никто не знал. Теперь же, с помощью микроскопа, Левенгук показывал сквозь кожу угря движение крови по его телу. Молодой угорь, в стеклянном цилиндре с водой, висел вниз головой, и в его туловище видно было, как течет кровь по сосудам. Точно так же, утверждал Левенгук, движется кровь и в теле человека.

Угрюмого старика упростили показать царю в микроскопе чудо самых простых препаратов. Жало пчелы становилось сказочно огромным, грубым, волосок бобра превращался в мохнатый ствол. Петр ахал, не верил своим глазам. Польщенный его волнением, Левенгук соблаговолит подвести его к своему рабочему микроскопу. Там, в стеклянной трубочке, находилась капелька воды. Старик направил на нее луч света от зеркала. Происходило нечто завораживающее: крохотные зверюшки проворно носились, вертелись, целые толпы этих существ, несомненно живых, населяли каплю воды. Стоило оторвать взгляд от окуляра, мир этот исчезал – чистая прозрачная вода, но если опять прижаться к окуляру – фантастический мир вновь оживал.

По-видимому, Петр был первым из русских и первым из всех монархов, который узрел мир этих животных, не подвластный никому. Неизвестный ни древним грекам, ни одному из путешественников от начала времен.

Чем-то понравился русский царь недоверчивому хмурому Левенгуку. Старик объяснил ему, что эти ужасающе малые животные разных сортов обитают в воде речной, озерной, в слюне, в зубах... Откуда они берутся, каково их назначение, как они размножаются? Он не знал ответа, нужно еще наблюдать и наблюдать, ставить опыт за опытом, сотни опытов.

Устройство микроскопа требовало знаний, поверхностный осмотр мало что разъяснил Петру, несомненно одно: ему показывали не чудеса, не фокусы, зверюшки существовали реально. Надо было приобретать микроскоп, везти его в Россию. Но Левенгук наотрез отказался. Ни за какие деньги ни один из его микроскопов продан не будет. Сколько Петр ни уговаривал упряма. В сердцах он выругался, схватил шляпу, выбежал, хлопнув дверью. На улице его окликнули. Левенгук звал из окна, просил прислать завтра за микроскопом, он приготовит его в подарок. Яростная досада царя, очевидно, понравилась старику. Это единственный известный случай, когда Левенгук подарил свой прибор.



Зато изобретатель вакуумного насоса охотно продал Петру свою машину. Петр быстро ее освоил и в России, в Кунсткамере демонстрировал зрителям, поражал их физическими опытами.

У Фредерика Рюйша имелась знаменитая анатомическая коллекция. Петр стал прицепиваться к ней. Часами изучал искусство ученого. Во что бы то ни стало надо привезти ее в Россию. Заспиртованным экспонатам, будь то внутренности человека, недоношенный плод, больные органы, монстры, Рюйш умел придать живой вид, наряжал их в кружева. Незвестным способом он сохранял естественные краски, давал причудливые позы. Ходили слухи, что мертвецы общаются с ним, возомнили, будто могут не подчиняться законам смерти. Рюйш интересовал миг смерти, что испытывает человек, когда умирает. Установил, что этого мига никто из умирающих не замечает. Так же как никто не может заметить миг засыпания. Рюйш был разочарован, мертвецы ничего нового о смерти сообщить не могли, они объясняли, что при умирании в них остается такая ничтожная доля жизни, что ее не хватает ни для боли, ни для чувств.

Как ни странно, подобная фантазмагория помогала молодому Петру избавляться от суеверий, увидеть человека изнутри как механизм, подверженный всем прихотям и бедам природы.

Будучи в Гааге, Петр узнал, что там есть ученый-математик, умеющий определить местонахождение корабля без звезд и солнца, методом счисления. Изобретение показалось Петру весьма важным, прежде всего для флота. Да и само по себе удивительным. Он попросил провести опыты в его присутствии. Снарядили специальную шлюпку, на которой построили шалаш. Шлюпку опустили в большой пруд. По всему пруду расставили шесты с номерами. Расположение этих шестов нанесли на план. Шесты представляли в масштабе разные страны и порты. Так что это была в некотором смысле модель моря. Шлюпка с гребцами плыла, куда хотел рулевой. Математик, сидя в закрытом со всех сторон шалаше, должен был со своими инструментами по солнечным лучам определить, возле какого шеста находится шлюпка. Он отмечал на плане и сообщал во всеуслышание. Петр забрался к нему в шалаш, расспрашивал, делал замечания. У голландца не все ладилось. Бывало, он ошибался и путался. Петр уличал его, подозревая в шарлатанстве. Три с лишним часа шла работа. Петр, скрючась в тесном шалаше, продлил испытание. Объехали все до одного шесты. Несмотря на ошибки, кое-чего математик все же добился в своем умении. Петр заключил, что пока еще ему недостает совершенства, но поощрить его труды следует, и щедро наградил – дал сто червонцев, – что делал редко, да и к тому же пригласил работать в Россию. Самое же важное в этом эпизоде – мысль, которую в завершение высказал Петр: «Я нimalo не хую алхимиста, ищущего превратить металлы в золото, механика, старающегося сыскать вечное движение, и математика, домогающегося узнавать долготу мест, для того что, изыскивая чрезвычайное (обратите внимание на эту формулировку!), внезапно изобретают многие побочные полезные вещи. Такого рода людей должно всячески одобрить, а не презирать, как-то многие противное сему чинят, называя такие упражнения бреднями».

– Если это так, то у него довольно современная точка зрения, – с удивлением признал профессор. – О пользе средневековой алхимии, например, недавно писал один уважаемый академик. Правда, в более осторожных выражениях, чем Петр, и то это было сочтено за смелость. Его поздравляли с новым взглядом.

Но тут Гераскин решительно повернул разговор в сторону любви – молодому, красивому мужику самые лучшие приборы любви не заменят. Бабу можно заменить другой бабой, а вот взамен любви ничего подходящего не найти.

По этому случаю Сергей прочел Шекспира:

Любовь – над бурей поднятый маяк,  
Не меркнущий во мраке и тумане,  
Любовь – звезда, которою моряк  
Определяет место в океане.

А Молочков, идя навстречу пожеланиям выздоравливающих, рассказал историю первой любви царя Петра.

## Глава четвертая

### Анна Монс

Царю было девятнадцать, когда он влюбился в дочь виноторговца из Немецкой слободы, красавицу Анну Монс, пышную, веселую, плясунью, за которой ухаживали напропалую и молодые и старые, немцы и русские. Анна позволяла себе подшучивать над попытками Петра говорить по-немецки, а он смеялся над ее акцентом и нелепыми словосочетаниями. Им было хорошо друг с другом. Это была отличная пара – юный великан, живое выразительное лицо, роскошные кудри, за словом в карман не лезет, недаром Петр так нравился женщинам, и Анна – она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно. Все у нее было приготовлено для аккуратности – полотенецко, туалетная вода. Отношения их быстро продвигались. Петр все-речь привязался к немке. Ничего такого раньше не случалось. Прошел год, два, три, на подарки он не скупился: жемчуг, кольца, портрет, осыпанный бриллиантами. В просьбах не отказывал. Просьб хватало. Подарил имение с угодьями. Одно, потом второе. Расщедрился – велел построить ей особняк в Немецкой слободе. Семейство Монс – мать, сестра, братья. У всех находились просьбы, бояре, ведая про любовь царя, подступали к Анне с ходатайствами, кто по судебным делам, кто просил должность. За хлопоты одаривали ее деньгами, мехами, золотой, серебряной утварью. Она брала, и с охотой. Так что молодое чувство вскоре стало приносить доход, удовольствие же от этого не убывало. Музыка гремела до утра, танцы, пирушки, попойки продолжались, и Петр все больше привязывался к ней, к этому дому, так не похожему на русские дома.

Десять лет, не утихая, продолжался их роман. Она никогда не выговаривала ему за его случайные связи, если на него находило, он мог хватать первую, что попадала под руку, – поварику, княгиню, чью-то дочь, жену – без разбору. Анна не ревновала. Похоже, она была уверена в себе.

Любила ли она? Разве любовь может быть без ревности? Но влюбленному неведомы недостатки возлюбленной.

С этой Анны Монс начинается в жизни Петра странная цепь роковых совпадений. То прячась, то возникая, они сопровождают Петра до самых его последних дней. Семейство Монс словно очерчивает заколдованный круг, из которого Петру не вырваться. Сама Анна никак не похожа на роковую женщину. Она красива, сумасбродна и практична. Что творилось в ее душе, никто из современников не понял, тем более не понять этого нам, спустя триста лет. Никто не мог предугадать загадочного поворота в царском романе и в ее сердечной жизни.

В судьбе каждого человека, по мнению учителя, заключен свой смысл. Учитель искал водяные знаки в судьбе Анны Монс и Петра, в том, что их связывало.

Уехав за границу, в первое свое путешествие, Петр не скучает по возлюбленной. Новые впечатления настолько захватили его, что за полтора года он не написал ни одного письма своей Аннушке.

В Европе их простодушный роман мог показаться ему старомодным.

Царствующие особы Европы похвалялись количеством любовниц и любовников. Все делалось открыто, напоказ. Интимность была исключена из жизни. Каждый придворный подражал государю в меру своих возможностей. Сменяли любовниц, менялись любовницами, обсуждали их достоинства. Больше не было тайн ни в своей половой жизни, ни тем более в чужой. Женщина – это орудие наслаждения, если ей поклоняются, то как источнику чувственности. Физическое наслаждение – вот главное в жизни двора. Процесс наслаждения был разработан до тонкостей, обставлен сладостными обрядами. Женщиной умели лакомиться со вку-



сом, блюдо тщательно готовится, применяют много специй, от женщины требуют искусства воспламенять. Девочек откармливали для королевских удовольствий.

Петр не имел никакого любовного образования. В своих желаниях он действовал просто и грубо, не стесняясь, брал, что подвернется под руку.

За границей его атаквали придворные дамы. Его старались заполучить, одарить своей любовью, своими прелестями, желая украсить собственный любовный список русским монархом.

Романы требовали соблюдения правил, правила требовали времени, но как раз этого у него не было. Светские балы, салоны были ему чужды, как и дворцовая роскошь, как украшения, наряды, карточные игры...

Еще в России его однажды уговорили поехать на псовую охоту. Полагалось царю соблюдать обычай – и отец и дед, все участвовали в псовых охотах.

В назначенный день явились бояре-охотники со множеством псарей и собак. Петр внимательно осмотрел эту шумную толпу и сказал, чтобы слуг отпустили – зачем они? Останутся одни охотники. Вельможи, взяв собак из рук псарей, отправились с царем. Когда выехали в поле, все пришло в расстройство. Собаками бояре управлять не умели, собаки подбегали к лошадям, кидались друг на друга, испуганные кони носились по полю, не слушая всадников и стараясь выбросить их из седел. Охота не получилась. Петр, смеясь, возвратился в Преображенское.

– Не лучше ли нам быть воинами, чем псовыми охотниками? – сказал он, прощаясь. – Слава царя в благополучии народа, охота же – слава псарей.

Впервые о ритуалах любви, о галантных обычаях кавалеров и дам Петр узнал от короля Августа, искусного мастера ухаживаний и разврата.

Однако в Англии его сумела обворожить актриса Королевского театра Летиция Кросс. Связь их была короткой. Хорошенькая, прелестная на сцене, она в любовных утехах не произвела впечатления на Петра. То ли чувства его были заняты другими диковинами, то ли он распознал в ней притворство, во всяком случае, связь их закончилась тем, что он поручил Меншикову заплатить актрисе от имени царя 500 гиней, что составляло 1200 рублей. Кросс выразила недовольство такой платой, сказала Меншикову, что русский царь скуп. Меншиков передал царю ее замечание. На это Петр сказал:

– За такую громадную плату мне год служат старики с усердием и умом, а эта худо служила.

– Какова работа, такова и плата, – согласился Меншиков.

По возвращении в Москву Петр сразу вспомнил про Анну Монс. Отложив дела, в первый же день поехал в Немецкую слободу.

За время разлуки Анна не сидела в ожидании своего царственного любовника, у нее завязался роман с саксонским посланником. Петру, разумеется, донесли. Он рассердился, приказал заключить Анну под домашний арест со строгим надзором, запретив даже посещать кирху. Подробности измены выяснились случайно – саксонец утонул, в карманах у него нашли любовные письма Анны Монс.

Неверность Петр воспринял болезненно. Шли месяцы, Петр скучал по своей немке, любовь не проходила. Сладкие воспоминания мучили его. Имей Анна больше такта и ума, она покалась бы, попросила прощения, вместо этого, по совету приятельниц, она занялась ворожбой, заговорами, колдовством: «Чтобы не мог без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, как рыба без воды, как младенец без матери» и так далее.

В те времена за колдовство строго наказывали. Донесли. Доносили исправно. Немедленно началось следствие. Петр, однако, дело прекратил, но у неблагодарной отобрали именина и особняк. Меншиков уговаривал выслать ее из России – напрасно, Петр никак не соглашался.

Опала Анны Монс была на руку Меншикову, как всякий фаворит, он не терпел других фаворитов, кроме того, она осмелилась на него кричать. Когда он, выпив, полез к ней, изругала его при всех, да еще намекнула на его содомский грех. Меншиков обид не прощал. С тех пор как Анну посадили под арест, Меншиков, наблюдая за тоской царя, задался мыслью сосватать ему свою сестру, тоже Анну. План безумный, но наглость не раз выручала князя. Анна Даниловна отличалась злым характером, к тому же была некрасива. Породниться с царем значило разом избавиться от упреков в безродности, обрести положение надежное, о большем и мечтать нечего. Старания его успеха не имели. Петр однажды, во хмелю, употребил Анну Меншикову, но на этом его интерес кончился. Однако произошло другое – государь заинтересовался горничной Меншикова, до того прачкой у Шереметева, а еще до того полковой прачкой, утехой русских солдат в Ливонии, а что было до них, толком неизвестно, ясно лишь, что женская биография ливонки была богатой.

Служанки были привычными партнершами государя. Среди множества его женщин, пожалуй, более всего служанок.

После первого свидания Петр дал будущей императрице Екатерине рубль, так что ничего обещающего не было. Куда заведет Петра внимание к пленной ливонке, Меншиков предполагать не мог, она нужна была, чтобы вытеснить Монс из сердца Петра.

Прошел год. Приятель покойного саксонца прусский посланник Кайзерлинг стал просить за Анну Монс – освободить ее от домашнего ареста. По наивности он обратился к Меншикову. Расспросив, Меншиков выяснил, что прусскому посланнику полюбилась красotka Монс и что-то у них уже завязалось.

Взвесив все обстоятельства, Меншиков затеял игру против Анны Монс, игру рискованную, но удача не могла изменить ему, он и мысли такой не допускал. Прусскому посланнику он дал понять, что к просьбе его царь может склониться, если на то будет важная причина, например желание Кайзерлинга вступить в брак с девицей Монс... После некоторого раздумья пруссак согласился. Однако Меншиков сказал, что государю нужно доказательство. Если будет письменная просьба от нее, что она-де желает выйти замуж за господина Кайзерлинга, тогда...

Психологический расчет Меншикова оказался точным.

Получив документ, Меншиков доложил царю о просьбе Кайзерлинга, добавив свое возмущение: как она могла предпочесть государю немолодого, хромоногого, малорослого посланника?

– Вранье, – сказал Петр, – я верно знаю, она меня любит, никто меня не разуверит.

Меншиков ссылаясь на то, что Кайзерлинг честный человек, врать не будет.

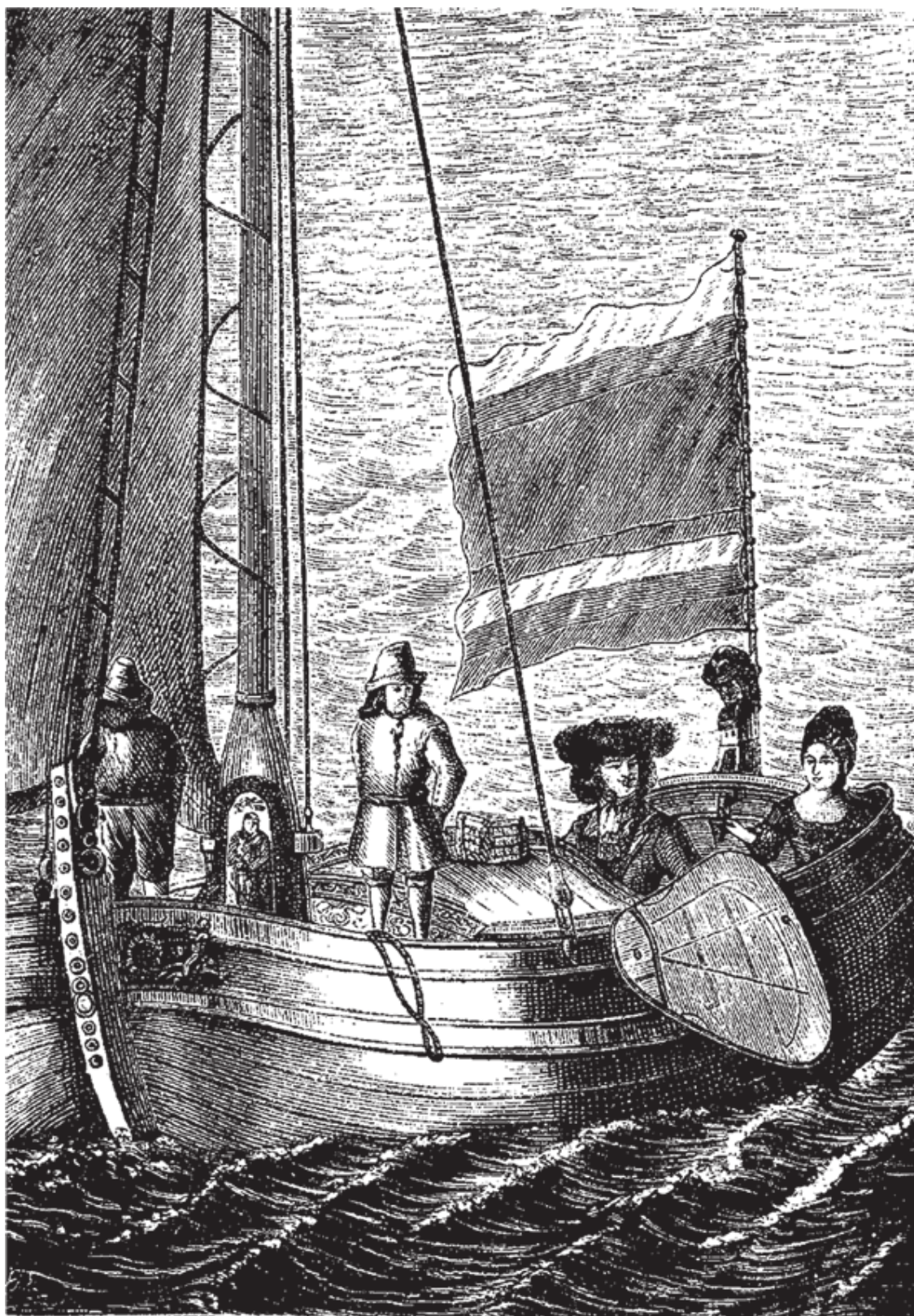
– Нет, нет, – настаивал Петр, – не может этого быть.

Тогда Меншиков извлек заготовленное прошение, написанное рукой Анны.

Петр читал, перечитывал бумагу, скомкал, швырнул в лицо Меншикову:

– Все равно не верю. Твои интриги. Только если она сама скажет мне.

Любовь к Анне Монс оказалась куда прочнее, чем думал Меншиков. Меншиков рассчитывал на оскорбленное самолюбие, на вспыльчивость, но манипулировать Петром не удавалось.



Судьба дала Монс еще один шанс вознестись, изменить течение своей жизни, взойти на престол, стать русской царицей...

Она слушала Петра безучастно, затем оборвала разговор, твердо повторила, что желает замуж за Кайзерлинга, ни за кого другого не пойдет.



Петр грязно выругался. На такую потаскуху никто не полезет, кроме этого недоумка. Кто она – пустышка, глупая немецкая трактирная девка. Он был разъярен – им пренебрегли! Она пренебрегла короной!

– Любить царя, – сказал он, – для этого надо царя иметь в голове. У тебя его сроду не было!

Он не мог успокоиться.

– Раз ты обо мне мало думала, незачем тебе иметь мой портрет!

И тут же отобрал портрет, украшенный алмазами, свой давний подарок, не подумал, что не царское это дело мелочиться, забирать свои подарки у женщины.

Но это еще ничего не означало. Любимая имеет право быть и дурой, и потаскухой – ей ничего не заказано, пока она возлюбленная, ее ничто не свергнет. Считать ее глупой значило не понимать, что у женщины все – сердце, даже голова.

Состоялся прием по случаю тезоименитства государя. Приглашен был дипломатический корпус. Меншиков подпоил Кайзерлинга, сам много выпил и стал вспоминать обиды, какие ему нанесла невеста посланника. Эта Монсиха, сучка, обирала государя, развратная баба, она Меншикову давала, Лефорту давала, лезет ко всем.

Кайзерлинг не вытерпел, вступился за нее, воззвал к государю, прося защиты, – бедняжка уже полтора года томится под арестом, ее братьям запрещен доступ на царскую службу, запрещен и выезд из страны, нельзя ли смиростивиться по случаю праздника.

На это Петр ответил весьма примечательно – посланник в донесении королю приводит с немецкой точностью его слова: он, государь, воспитывал девицу Монс для себя с искренним намерением жениться на ней, но так как Кайзерлинг прельстил ее и развратил, то ни о ней, ни о ее свадьбе ничего знать и слышать не хочет.

Пруссак стал терпеливо отстаивать свою репутацию, он-де честный человек, никто не может доказать, что он развращал фройляйн Монс, привлекало его к ней исключительно чувство сострадания, и если она готова оказать ему честь, то следует принять во внимание, что оба они не осмелились бы пойти против воли его величества, их действия соответствуют советам князя Меншикова, которые тот...

Не дослушав, Петр раздраженно ушел в другую залу. После этого Меншиков вовсю стал потешаться над Кайзерлингом, обзывая его такими отборными словечками, что дамы, смеясь, закрывали уши. Он высмеивал мужские достоинства немца, его кривые ноги, как он смел переступить царскую дорогу, что он есть в сравнении с государем, червь, ничтожество, плюгавый урод... Ругаясь, он подступал все ближе, пока Кайзерлинг не оттолкнул его. Шпагу у него отняли при входе, иначе обнажил бы ее, чтобы отстоять свою честь. Он выкрикнул:

– Вы пользуетесь, князь, своим преимуществом, будь мы в другом месте, вы бы не посмели говорить такое, вы думаете, что здесь вы безнаказанны, так вот я заявляю вам, что вы подлец!

Кроткий законопослушный Кайзерлинг нарушил дипломатические запреты, сделал все, чтобы вызвать Меншикова на дуэль. Не учел он, что дуэль до России дойдет еще через полвека, пока же во дворе честь отстаивают мордобитием, что незамедлительно от светлейшего князя и последовало. В сравнении с ним Кайзерлинг был немошен, да и непривычен к потасовкам. Меншиков лупил его в полное свое удовольствие. Напрасно Шафиров пытался остановить его, напоминая о дипломатической неприкосновенности. Куда там, Кайзерлинг старался лишь, чтобы его не сбили с ног, предпочел прикосновенность.

На шум появился Петр, посмотрел, как избивают посланника, спросил, намерен ли тот драться как положено, на шпагах. «Да», – выкрикнул немец. Тут на него налетели подручные князя, вытолкнули, спустили с каменных ступеней, Меншиков позвал гвардейцев, те выбежали во двор и там продолжали лупцевать несчастного.

Назавтра разразился международный скандал. Был подан протест, потребовали письменное объяснение. Все дипломаты сообщили своим правительствам о том, что произошло. Речь шла не только об отношениях с Пруссией, но и о положении дипломатов в России. По всем правилам посланнику следовало отбыть, покинуть страну.

По мнению учителя, это вполне устраивало бы Петра: Кайзерлинг уедет, Анна останется, кулаками Меншикова он выместил свою ревность и мог надеяться, что Кайзерлинг опозорен в глазах Анны. Проходили дни, Кайзерлинг не уезжал, тянул время, вел переписку с Берлином. Чтобы остаться в России, он должен был получить официальное извинение от Меншикова или от правительства. Извиняться никто не спешил. Посредники в его переговорах сообщили условия – он может остаться в России, если сам принесет извинения Меншикову. Невероятно... Это как вам будет угодно... Выхода не было, иначе ему придется расстаться с Анной. Цена была невыносимая. Но он ее заплатил, принес в жертву свою честь, вымучил постыдное письмо князю Меншикову. Взял всю вину на себя, покался, что в пьяном виде произнес непристойные выражения, просил забыть их ссору. Отказался от каких-либо упреков. Читать его послание тяжело, насколько первое его письмо прусскому королю пылает гневом, настолько же униженно, раздавленно выглядит он в своем прошении обидчику.

Слух о том, как избили посланника Пруссии, широко разлетелся по Европе. Что-то надо было предпринять. Извинения Кайзерлинга не снимали афронта. Чтобы удовлетворить прусского короля, решили наказать гвардейских офицеров, посланных Меншиковым. Петр долго не размышлял: за побои, нанесенные посланнику, – расстрелять, о чем и сообщить в Берлин. Как всегда в России – все через край.

Посланник ужаснулся, захлопотал о помиловании офицеров. Приготовления к расстрелу тем не менее были сделаны, офицеров привезли на площадь, завязали глаза, дали в руки свечи, зачитали приговор. Появился адъютант Меншикова и сообщил, что по просьбе прусского короля им даровано прощение. Конфликт был улажен, состоялось примирение. Меншиков предложил все забыть.

Государь также выразил сожаление: мало ли что бывает по пьянке.

Была еще надежда, что Анна отступится от своего обещанного жениха, нет, не отступилась. Они обвенчались, и только тогда Петр освободил ее от ареста. Мужское самолюбие его страдало. Как могло случиться, что Анна предпочла невидного пруссака ему, Петру, по общему признанию красавцу, на его стороне и молодость, и сила, во всем он превосходит соперника, в чем же дело? Объяснения он не находил, заноза осталась надолго. То, что Кайзерлинг вел себя благородно, не считалось. Ревность имеет свои права...

...Обсуждали бурно – что за таинственные создания женщины, в них уживаются любые противоречия, никто не знает, как расставаться с ними. Формула: чтобы любить царя, надо иметь царя в голове, – защищала самолюбие Петра, устраивала придворных, но вызвала возражение у профессора.

– Может, Анна Монс и недалекая, но лично мне симпатична. Недаром Петр прилип к ней. Вы утверждали, что она жадна до денег. Почему же она отвергла царскую милость, а значит, и все то, что могло бы перепасть царской избраннице? Я так полагаю – либо оскорблена была, либо своего немца-посланника полюбила всей душой. Знала ведь, что царь страшен в гневе. И не убоилась. Открыто предпочла своего немчика хромоногого. Какова! Это же поступок, публичное неповиновение вашему красавцу!

– Потому что дура! Ничего другого я тут не вижу, – воскликнул Молочков.

– Боюсь, что любовь к Петру сделала вас пристрастным.

– Бабы имеют свою анатомию. Вот в чем их хитрость, – вмешался Гераскин. – Мы считаем, что у них мозги работают, полушария, а они сердечными желудочками, всякими клапанами размышляют, поэтому практически недостижимы. Наверняка этот немец ухаживанием

одолел. Цветы, комплименты. У них культура. А у наших программа простая – потискать и завалить. А тут еще Меншиков отмочил, унижить хотел немца в ее глазах. Побили, с лестницы спустили. Да разве так действуют? Я на этом нажегся, – и как всегда, Гераскин привел пример из личного, по его выражению, Декамерона.

Особа, на которую он имел виды, «колоссальная девица», обратила внимание на другого. Тот был «шибздик ничтожных размеров, и к тому же заика». Однажды в компании наш Гераскин, выйдя из себя, взял и засунул этого «несущественного типа» в холодильник. Гераскин хотел его опозорить, показать свою мужскую бравость, а получилось наоборот, она принялась жалеть этого мозгляка, Гераскина же полностью отвергла. Точно как эта немочка, Анна Монс.

– Эх, не было меня рядом с Петром Алексеевичем, я бы его научил на своем опыте.

– И что бы ты ему подсказал? – спросил Дремов.

– Я бы сказал – Ваше Величество, пора нам с вами понять, любовь не отмычка, а ключ.

Профессор поддержал Гераскина, отдал должное благородному поведению посланника, не в пример глупостям, которые натворил царь-государь.

Учитель был обескуражен. На его глазах из его же фактов и сведений был составлен образ женщины, совершенно незнакомой ему. А главное, все то, что раздражало глупостью, прямо-таки нелепостью, прекрасно укладывалось в ее новый облик. Как произошло это превращение? По-видимому, ему мешало то, что он видел ее глазами Петра, впрочем, как и многое другое в том времени. Его признание обрадовало профессора. Он и прежде не считал историю наукой. Не только потому, что ее все время приспосабливали, использовали для политики, но и потому, что история не позволяет поставить эксперименты и проверить выводы. Историк пишет картины прошлого так, как кому понимается. Трактует каждый по-своему, в каком-то смысле сочиняет. История Ключевского не отменяет Соловьева. Великие историки, так же как великие философы, сосуществуют – Платон и Шопенгауэр, Фейербах и Ницше, все как в картинной галерее – выбирай по своему вкусу. Это вам не генетика, не физика.

Однако учитель не старался отстаивать историю. Пусть об этом беспокоятся доктора исторических наук. Он возвращался к своей ошибке, если это была ошибка. Да, он представлял себе Анну Монс как видел ее Петр, то есть так, как хотел ее видеть Петр, оскорбленный в своих чувствах. Это имело для него принципиальное значение. Много лет он потратил, пытаясь найти пути, чтобы заглянуть в сокровенные глубины петровского «я». Увидеть Петра изнутри – значит получить совершенно иной портрет этого человека. Потому что, к вашему сведению, Елизар Дмитриевич, биография не есть нанизывание событий на человеческую жизнь. «Я» того же Петра скрыто от нас, оно скрыто и от него самого. Мы видим лишь объект, а не субъект, Петра то на коне, то на палубе, то в Сенате, каждый раз мы знаем его поступки, его решения, но как они появляются, мы не знаем. Почему он ничего не писал Анне, почему он вел себя так, а не иначе? Установить это можно, лишь проникнув внутрь, туда, где клубятся еще неосознанные страсти, где мысль еще не стала словом, но где-то там, в самой глубине, таится цель, программа, заложенная в нем. Называется это призванием, природным даром, в каждом из нас заложена программа, она дает знать о себе порывами к чему-то иному, беспричинной тоской или же вдруг счастьем совпадения, когда удалось осуществить.

Рассуждения эти побудили Дремова рассказать историю своей размолвки с любимой женщиной. Она покинула его внезапно, без причины, ушла к их общему приятелю, милому человеку, посредственному художнику по костюмам. Никаких видимых поводов, никаких причин Дремов не мог отыскать. Жили весело, дружно, он даже приходил к мысли, не жениться ли ему на этой ладной, крепкой врачихе. Ушла, ничего не объяснила. Не плакала, не грустила, словно сделала пересадку в метро, не более. Солнечное равнодушие исходило от нее. Не было упреков, не было и волнения, художник не мог нравиться ей. Раньше она отзывалась о нем пренебрежительно. Дремов не так грустил по ней, как был озадачен и оскорблен тем, что она



предпочла такого, у кого не было никаких преимуществ. Два года прошло, поступок ее остался неразгаданным и по временам сильно мучил Дремова.

– Наверное, мне надо было увидеть себя ее глазами. Как это сделать? Это ж надо извернуться, проникнуть... Вам хорошо, Виталий Викентьевич, у вас документы, письма, а у меня что? Ничего, кроме обиды. Может, она и мешала мне забраться в душу моей жене.

Но оказывается, под «я» Виталий Викентьевич имел в виду не душу, ибо душа нечто иное, она существует как бы независимо от тела, она занята выбором между злом и добром. «Я» человека Молочков представлял как хаос желаний, страстей, похоти, стыда, как выбор по правилам морали или своего самодержавного хотения. Но как происходит выбор, что там в глубине, он не знал. Перед ним было лишь таинство происходящего, рождение, но не зачатие. Косточка внутри плода, но что там внутри...

– Все это умствование, отвлеченное философствование, бесплодное, – уверял профессор, – потому что мозг человека не в состоянии постигнуть сам себя – так же, как нельзя поднять себя за волосы, увидеть свои мысли, уловить, как они облакаются в слова. О человеке можно судить лишь по его поступкам. Это единственная реальность. Петр состоит из поступков, и только. Есть хорошие, есть плохие. То, что остается после вычитания, есть итог жизни. Все стремления, надежды в счет не идут.

Его категоричность не понравилась. Обыкновенные люди вынуждены подчиняться обстоятельствам, нельзя требовать от каждого героизма.

– Это оправдание для малодушных, – сказал профессор. – Человек не рождается героем, он делает себя героем. Теперь-то я знаю, что мог не уступать обстоятельствам, мог выстоять, а уступил, но это знание уже не зачтется мне.

На этот раз Молочков деликатно перевел разговор на другую тему, сам предложив новую историю.

## Глава пятая

### Покушение

На Петра не раз покушались. И всякий раз какие-то чудесные обстоятельства спасали его. Судя по всему, Молочков считал его заговоренным. Взять, например, историю с заговором стрелецких полковников Цыклера и Соковнина.

Проведав о заговоре на свою жизнь, доносителей хватало, Петр велел вечером окружить заговорщиков и схватить. Но, перепутав час, явился сам преждевременно в дом заговорщиков. Он застал их всех, человек шесть. Они были поражены, однако вся компания изменников встала, изъявляя государю должное почтение. Царь виду не подал, сказал, что увидел у них свет в окнах, проезжал мимо и надумал заехать, обогреться. Самообладание помогло Петру найти нужный тон, распить вместе со стрельцами круговую чашу, повести разговор. Неизвестно, на что надеялся Петр, но вел он себя уверенно, так, будто дом был уже окружен и солдаты только ждали его приказа. Представьте себе: никто из действующих лиц этой сцены не знает, что произойдет в следующую минуту. Петр понимает, что уйти так, запросто, он уже не может, произошла роковая ошибка, он попал в ловушку. И оставаться далее нельзя. Один из стрельцов тихо говорит Соковнину: «Пора брать!» Соковнин так же отшептался: «Еще нет!» Петр, поняв, что происходит, вскочил, ударил Соковнина так, что тот упал, вскричал: «Если тебе еще не пора, сукин сын, то мне пора. Связать этих скотов!» Все растерялись. И в эту минуту, ровно в одиннадцать вечера, согласно приказу солдаты во главе с офицером ворвались в дом. Далее все завершилось по правилам американского триллера, которого никто из них еще не видел. Таков анекдот, записанный Якобом Штелином. Насколько приукрашена эта история – неизвестно.

Следующий случай уже из области мистики. Речь идет о покушении, произведенном Александром Кикиным. Начав бомбардиром в потешном полку у Петра, он вскоре становится одним из ближайших к нему людей, сопровождает денщиком в походах, едет с Великим посольством, остается в Голландии, учится строить корабли. Умница, энергичный, образованный представитель древнего дворянского рода. Предки его боярами были у Дмитрия Донского. Немудрено, что он терпеть не мог выскочку Меншикова, нувориша, наглого фаворита. У них все чаще происходили столкновения, и царь неизменно брал сторону Меншикова. Это возмущало Кикина, доводило его до бешенства.

Денщики неотлучно дежурили при царе, обычно ждали, когда он заснет, и ложились спать в соседней комнате. К очередному дежурству своему Кикин приготовил пистолет, зарядил его, дождался, чтобы Петр заснул, и, направив пистолет в голову царя, спустил курок. Осечка. Повторяет снова. Опять осечка. Озлясь, он сменил кремль, попробовал курок, убедился, что все исправно, перезарядил пистолет. Опять осечка. Рассказчики расходятся в подробностях. Одни утверждают, что попыток было две, другие – три.

Неудача поразила Кикина. Столько случайностей быть не могло. Это не осечки – это запрет, божественное вмешательство. Может, сам Всевышний защитил государя и сейчас покарает Кикина. В ужасе он разбудил Петра, упал на колени и признался во всем. Показал пистолет, совершенно исправный. Теперь он, Кикин, считает себя «недостойным тяготить землю».

Подумав, Петр сказал, что раскаяние Кикина еще более подтверждает Божье покровительство.

Верил ли он сам в свою чудесную звезду, внушал ли окружающим, трудно сказать. Кикина в тот раз он простил.

История сомнительная и в то же время слишком невероятная, чтобы быть выдуманной.

Учитель всерьез полагал, что Петра всякий раз хранил некий Божий промысел. В его биографии он находил много необъяснимого. Время от времени в истории появляются и дей-

ствуют непонятные силы, он был убежден, что в исторической науке атеистам приходится трудно.

После этого случая Петр назначил Кикина адмиралтейским советником.

Что означал сей акт? Видимо, Петр уверился, что раскаяние гарантирует верность, иначе как же, Кикину ведь был Божий знак.

Вскоре, однако, был Кикин уличен в деле о хлебных подрядах, в злоупотреблениях, судим. Суд конфисковал его имение, приговорил к ссылке. Кикин обращается с прошением о помиловании к царю, и Петр снова, веря в раскаяние, возвращает его из ссылки, отдает имение, оставляет в прежнем звании. Через несколько лет того же Кикина разоблачают как одного из главных участников заговора царевича Алексея. Это он советует царевичу не возвращаться в Россию, установить связь с французским двором. Кикин устроил бегство Алексея в 1716 году. Кикина судят, приговаривают к казни. Петр не только разгневан, он еще и уязвлен – как же так, дважды им помилованный, дважды прощенный, должен был по всем законам совести и благодарности верен быть, служить преданно, возлюбить должен был. Вместо же этого не только казнокрадство, к чему Петр не то чтобы привык, но притерпелся, но из пыточных признаний предстала многолетняя лютая тайная ненависть к нему Александра Кикина. И хотя следствие над сыном прежде всего поглощало внимание Петра, все же он улучил время посетить приговоренного Кикина, спросить, что заставило этого человека «употребить ум свой в тоlikое зло?».

Говорят, что Кикин, не раскаиваясь ни в чем, ответил ему такой фразой: «Ум любит простор, а от тебя было ему тесно».

## Глава шестая

### Письмо дамам Нотебурга

По дороге в Москву Петр остановился в Вышнем Волочке. Не мог не посмотреть, как идет строительство канала и шлюзов. Он ведь хотел соединить бассейны Волги и Невы. Первую великую российскую стройку запустил. Однако не о том речь. Осмотрев работы, он вернулся в город пообедать. Пока ел, собрался у ворот и в сенях народишко. Принарядились, пришли царя увидеть и себя показать. Петр отличался доступностью. Специально «общаться с народом» – этого в манере Петра, по словам Молочкова, не было, да и ни к чему ему было, «общение» происходило на ходу, по делу. Пообедав, вышел к ним и во время разговора обратил внимание на одну девушку. Хороша была, к тому же поведения скромного. Стояла поодаль, заметив взгляды царя, смущалась и пряталась. Петр в таких вещах был человек настороженный. Велел позвать ее. Она приблизилась, закрывая лицо рукой. Счел он этот жест за девичью застенчивость, взял ее руку и стал говорить, чтоб она не боялась: девушка она видная, пора ей замуж, любой такую возьмет. При этих словах бабы кругом засмеялись, некоторые же нарочито громко, так что вышло неприлично. «Чему вы, дуры, скалитесь, – прикрикнул Петр. – Тому, что девушка скромнее вас?» На это бабы грохнули пуще прежнего. Петр спросил у ближнего мужика, чего они заливаются.

– Может, ревнуют, что я ее приметил?

– Нет, государь-батюшка, они не тому смеются, причина тут другая.

– Какая же?

– Ты назвал ее девушкой.

– Что ж, она уже замужем?

– В том-то и дело, что не замужем.

– Так что же?

– Девушка она неплохая, трудолюбивая, да вот сошлась с немецким офицером, он постоем у нас стоял, потом отряжен был в другое место. Прижила она от него сына. Теперь наши девки не знают ее, смеются.

– Эко великое зло, – сказал Петр. – Да если она ничего худого не сделала, чего ей долго вменять в вину. Да еще ругать. Родила, и молодец.

Он повысил голос, чтобы все, кто в сенях и во дворе, слышали:

– Смотрите у меня, чтобы это прекратили. Повелеваю всем не попрекать ее отныне, не сторониться!

Петр взял ее снова за руку, погладил, сказал, чтобы не боялась, ни о чем не печалилась. Попросил принести сына. Это оказался крепенький двухлетний малыш. Петр погладил его: «Славный мальчик, будет добрым солдатом. Старайся, чтобы вырос здоровым». Он поцеловал мать, подарил ей денег и с тем и уехал.

– Как трогательно, – сказал профессор. – Так писали в старину для церковно-приходских школ хрестоматийные рассказы про царя-батюшку. Он у вас, Виталий Викентьевич, – сахарна головушка, медовые уста, печальник и заступник. Я уверен, что на самом деле вы знаете о нем совсем другие истории.

– Видать, трахальщик был этот Петр, – мечтательно сказал Гераскин.

– Бог с ней, с этой гуленой, – сказал Дремов. – Вы на другое обратите внимание – доступен был, напрямую контактовал, выяснял индивидуальные обстоятельства. Я давно заметил – где начальник толковый, он готов принять тебя, времечко у него всегда найдется, слушает, не торопится. Если начальник бестолочь, к нему не пробиться, всегда занят. Парадокс!

Гераскин упорно возвращал учителя к теме «Петр и женщины».

– Петр много сделал, чтобы ввести русскую женщину в свет, – начал было Молочков, однако вдруг рассмеялся и вспомнил иную историю.

Шла осада Нотебурга. Так у шведов называлась крепость Орешек. Петр лично принимал участие в сражениях. День за днем русские из сорока орудий обстреливали крепость. Безуспешно.

...Из-за бездорожья обозы отстают от войск, так же как и осадные пушки. Северная война началась в распутицу, в сентябре 1700 года под Иван-городом с того, что сразу обнаружилась негодность артиллерии. Порох был скверный. Артиллеристам приходится закладывать полуторный заряд. От этого рвутся пушки, гибнут бомбардиры. Видя подобные беды, капитан артиллерийской роты Гуммерт переходит на сторону шведов. Военные советники, нанятые Петром, плохи, не оправдывают надежд.

При бомбардировке Нотебурга пушки то и дело выходят из строя. Когда солдаты пошли на штурм крепости, они не могли залезть в пролом стены, лестницы оказались слишком коротки. Ни вооружения настоящего, ни армии настоящей – не было.

Еще когда русские окружили крепость, Шереметьев, командующий армией, послал коменданту трубача с посланием. Фельдмаршал предлагал шведам сдаться. Положение их безнадежно. Помощи ниоткуда не будет. В ответ шведский комендант Шлиппенбах учтиво и язвительно благодарил за объяснение причин, по которым гарнизон должен сдаться, и просил несколько дней сроку, чтобы получить разрешение от своего начальства.

Такой ответ не устраивал Шереметева. Обстрел возобновился. Наконец в разных местах крепости начались пожары, черные столбы дыма поднимались в хмурое октябрьское небо.

Барабанная дробь пробилась сквозь звуки канонады. Из ворот крепости вышел в парадной форме барабанщик. Он направился к русским батареям. Стрельба прекратилась. Случайно или нет, барабанщик вошел в расположение бомбардирской роты Преображенского полка. Командовал ею не кто иной, как капитан Петр Алексеев. Барабанщик, подойдя к нему, попросил вести его к командующему, передать письмо. «Где письмо?» – потребовал капитан. «Оно на имя фельдмаршала». – «Не бойся, я передам». Отобрал и тут же черными от пороха руками вскрыл печать. Был капитан высоченный, как потом докладывал барабанщик, кошачьи усы торчком, волосы облепили потный лоб, шея замотана шарфом, внушал он робость, так что барабанщик спорить не посмел.

Письмо было от жены коменданта. Она от имени офицерских жен просила фельдмаршала дозволить «зело жалостно дабы могли из крепости выпущены быть ради великого беспокойства от огня и дыму».

Прочитав, капитан-бомбардир крепко прошелся по гарнизонным потаскухам, которым вообще не место в крепости, а коли они там пребывают, пусть нюхают без разбору, что придется, потом расхохотался и сказал, что сам даст ответ. Тут же писарь на шведском барабане под диктовку царя со всеми приличиями отписал, почему не стоит отправлять барабанщика к самому командующему, – поскольку тот «не согласится опечалить шведских дам разлукою с мужьями», да и опасно им одним попасть в русское расположение. Посему капитан-бомбардир галантно советовал, «если дамы изволят оставить крепость, то пусть берут с собою любезных супругов».

Ответ Петра вызвал одобрение у Антона Осиповича.

– Дипломат! Самое трудное – красиво отказать.

– А чего это он – то Петром Алексеевым служит, в капитанском звании, то плотником Михайловым, – поинтересовался Гераскин. – Уставал, что ли, от своего царского звания?

Молочков пожал плечами:

– Любил отстраняться. Почему – точно объяснить не могу. На шутейных соборах тоже передавал свою власть – папе-кесарю.

– Не боялся, значит, побыть без короны.

– Конкуренции не боялся, – сказал Антон Осипович. – Монархия, престол – местечко персональное.

– Что же дальше было? – потребовал Дремов.

– Барабанщика напоили вином и отпустили. Как только шведы получили ответ, они от злости открыли огонь по царской батарее. И опять шведские дамы мучились от дыма и гари.

В огне пожаров сгорели все деревянные постройки крепости. Половина русских пушек перекалилась, вышла из строя. Русские пошли на штурм, устремились в пробитые артиллерией бреши. Шведы лили на них смолу, стреляли в упор. Сражались отчаянно. Крепость считалась неприступной, и недаром – стены высокие, полоска суши между стенами и водой узкая, так что осаждающим не развернуться.





Штурм продолжался час за часом, тринадцать часов, то и дело обнаруживалась неопытность русских, нестача осадных средств, Петр все видел со своей батареи. Гибли его лучшие гвардейцы. Вновь надвинулось позорище «нарвской конфузии». Гарнизон крепости составлял 300 шведских солдат, русских было в сто раз больше – 30 000, и они ничего не могли поделать. Горящая смола защитников крепости лилась сверху, вспыхивали деревянные лестницы. Преображенцы, семеновцы – его любимцы, его надежда – падали у каменных стен, застревали убитые в слишком узких проломах. «Бомбардирский капитан» не мог ничем им помочь, судо-

роги пробегали по лицу. Губы дрожали, когда он отдал приказ отступать. И тут произошло небывалое – подполковник Семеновского полка Михаил Михайлович Голицын ослушался:

– Скажи царю, что я уже теперь не его, а Божий.

И Петр не осердился на ослушника, Петр возликовал, появился боевой дух, о коем он мечтал, когда офицер делает то, что нужно делать не для царя, а для победы!

Именно с этого момента Молочков отсчитывал рождение русского офицерства. Дисциплина не есть сокрушение личной воли, высший долг возобладал над слепым повиновением.

В сражении при Лесной князь Голицын вновь показал храбрость, умение. Радуюсь его доблести, Петр предложил ему просить что пожелает. И что же Голицын? Он просит принять в прежнюю милость разжалованного недавно в солдаты за неразумное отступление Никиту Репнина. Как же так, удивился Петр, известно, что Репнин был ярым недоброжелателем Голицына. «Я знаю, – сказал Голицын, – но знаю и то, что он сведущ в военном деле, предан тебе, государь. Что значит наша вражда, когда Отечество и ты, государь, нуждаетесь полезными людьми».

Репнин был прощен, восстановлен в прежнем чине. Подвиг же М. Голицына не остался без награды. Петр пожаловал ему свой портрет, усыпанный бриллиантами. Одна за другой следовали победы в военной карьере Голицына, он дослужился до генерал-фельдмаршала, так же, впрочем, как и Репнин.

Михаила Голицына по его военному таланту считали вторым после Шереметева. Его гвардейцы и преображенцы майора Карпова повторили приступ. Назад пути им не было, они сами столкнули суда в воду и пустили их по течению реки. Теперь им оставалось только взять крепость. В это время, несмотря на обстрел, на остров высадился свежий отряд Александра Меншикова. Они снова и снова бросались врукопашную. Никто и ничто уже не могло остановить штурмующих. Под утро шведы сдались. Петр принял от Шлиппенбаха золотой ключ от крепостных ворот.

Из этих ворот вышли остатки шведского гарнизона. Картина была красочная. Петр в темно-зеленом мундире стоял с огромным золоченым ключом. Шведские солдаты – кто перевязанный, кто хромая, опаленные, грязные, заросшие – тащили четыре чугунные пушки, столько им разрешили взять. Ружья висят дулами вниз. Небритые щеки оттопырены. При изготовке и стрельбе пули клали в рот, обе руки заняты. Знакомый Петру барабанщик шел под знаменем. Барабан его молчал. Шествие замыкали дамы. Они тащили узлы. Последними шагали, опустив головы, шведские офицеры. Санитары везли на повозках раненых.

Строй русских солдат во главе с Шереметевым и Петром отдавал честь стойким защитникам крепости. Их осталось всего восемьдесят человек. В знак высшего уважения шведам разрешалось взять с собою личное оружие, офицерам – шпаги.

Тут же Петр велел переименовать крепость в Шлиссельбург (Ключ-город), дать ей новый флаг, герб и наградить всех медалями.

История приписывает эту победу почему-то двум полководцам – Шереметеву и Репнину – ну и, разумеется, Петру.

Победа многому научила и офицеров, и солдат, и самого царя, ему навсегда запомнился миг его слабости.

Уже спустя неделю были выбиты медали в честь взятия Нотебурга: изображен был Петр и осада крепости.

## Глава седьмая

### Переводить полностью

Интересная была у Молочкова манера – никаких вступлений, вводных слов. Из него вдруг вырывалось, иногда с середины, не сразу поймешь к чему, с чего началось.

– ...Заказали ее перевод монаху Гавриилу Бужинскому. С этой книгой получилось любопытное недоразумение. Называлась она «Введение в историю европейскую». Лично Петр заказал. По разным художествам он отбирал заграничные книги для перевода. По географии, архитектуре, о делании фейерверков, по садоводству, по анатомии. Все называлось художеством. Монах старался как мог, немецкий знал хорошо, и через несколько месяцев труд был завершен. Он взял рукопись, отправился во дворец на прием, ожидая царской благодарности, потому что сделал работу раньше срока. Время было послеобеденное, царь, отдохнув, вышел в приемную. Обходил, здороваясь, дойдя до монаха, спросил, скоро ли он кончит перевод. Вопрос был кстати. Перевод готов, отвечал монах, радуясь предстоящей похвале. Петр с довольным видом взял рукопись, стал листать. Листал, явно отыскивая какое-то место. Найдя, стал читать. И тут монах увидел, как лицо государя начало мрачнеть, брови грозно сошлись.

– Что я тебе приказывал сделать с этой книгой?

– Перевести.

– Где ж твой перевод? – Петр с силой ткнул пальцем в параграф о Российском государстве. – Это что? Разве так было в книге?

Монах испугался. Переводя, он полностью опустил критику в адрес русского народа. Не стал переводить про беспорядок в устройствах власти, не оставил о пьянстве, о взятках и о других непочетных качествах русских людей.

В других местах кое-что смягчил – про леность. Отдельные выражения сделал приятнее.

Память у Петра оказалась крепкая, он уличил переводчика в пропуске целой страницы, сердито вернул ему рукопись:

– Сделай как я тебе приказал. Все оставь в точности, что сочинитель написал. Полностью надо переводить, автора не тебе исправлять.

И пояснил, чтобы понятно было присутствующим: полный текст нужен ему не для поношения своих подданных, наоборот, надо знать, что думают о русских в других странах, такое знание полезно для исправления нравов.

«Введение в историю европейскую» была знаменитая книга, написанная еще более знаменитым немецким ученым Пуффендорфом в 1684 году. Человек для него существо разумное, и поэтому в естественном состоянии господствует не всеобщая вражда, а мир.

Что это за выпущенные места, которые приметил Петр?

Русские, написано было у автора, такие же люди, как и прочие европейские народы, и в политике, и в прочем, однако тут же оговаривается, они малообразованны, малограмотны, священники «грубы и всякого учения непричастны», из Священного Писания знают одну-две главы. В быту русские невоздержанны, свирепы, о своих достоинствах нестерпимо гордятся, чужие достоинства отвергают. Будучи о себе высокого мнения, они не видят своих недостатков. Заключает же тем, что этот рабский народ рабски смиряется с жестокостями власти и даже любит повиноваться. Подобные характеристики Бужинский не посмел оставить.

В книге по истории войны со шведами Петр пишет, что в прежние, довоенные времена шведы рассуждали о русских примерно так, как писал «славный историк Пуффендорф», в нынешние же времена, конечно, суждение иное.

Урок, преподанный Петром, переводчик Бужинский усвоил на всю жизнь и переводил другие книги дословно, ничего не выпуская.



Петр заказывал разные переводы и составил как бы правила переводчикам. Требовал знать предмет, который переводит. Не разумеющие наук должны быть оным обучены. Мало знать язык иностранный, надо собственный знать, так что лучше, когда переводчик русский.

– А что с тем монахом? – поинтересовался Гераскин.

– Монах перевел Пуффендорфа слово в слово. В 1723 году он вручил книгу государю. Ее издали. Правда, после смерти Петра, в следующем издании хулительные места, восстановленные Петром, были опущены.

Профессор восхитился, откинулся на спинку кресла, залучился мелкими морщинками от удовольствия.

– Узнаю тебя, родина. Да разве мы можем вытерпеть хулу от иностранца. На что нам честь, была бы спесь. Первая заслуга у нас, что русским родился. Вторая заслуга, что русский лучше всех остальных. Кто это сказал? А это мы сами знаем.

– Не любите вы русских, – сказал Антон Осипович.

– Еще как не люблю. Потому не люблю, что я русский. Между прочим, Челюкины – новгородские бояре. Не люблю, потому что насквозь знаю Россию, всю ее, лесную, изъездил. Да, не хочется знать, какими нас видят со стороны, ой не хочется. Сами себя тоже видеть не хотим. Нас надо мордой тыкать в наше дерьмо, и то не научишь.

Говорил он это не горячась, без злости, даже обрадованно, словно давно ждал этого разговора и дождался.

– А за что любить русского человека? Объясните мне. Рабский народ. Наша разновидность рабства самая стыдная – холопство. Возьмите, допустим, нашего официанта. Ни приветливости, ни гостеприимства, он холуй и хам. В каждом русском три «ха»: холоп, хам и холуй. Мы рабы без цепей и надсмотрщиков. Свобода нам мачеха. У нас Сталина до сих пор обожают. Измывался, гноил в лагерях, – это все не важно, важно, что считал людей мразью. Мы охотно подтверждаем – да, мы и есть мразь. Мы винтики! Мы пыль! Мы в восторге оттого, что винтики. Винтики-энтузиасты. Назовите мне, чего, чего наш народ достиг без принуды? Возле моей дачи озеро. Каждый год там ставят скамейки и каждый год их ломают, жгут на костре. Поставили баки для мусора, никто мусор в них не несет. Накидают кругом себя, да еще обязательно бутылки разобьют, осколки валяются. Тараканы и крысы, пьянь и ворюги, стукачи и вертухаи – вот приметы России. Мы нищие в самой богатой стране, назло себе бедные. Озера и реки загадили. Леса порубили. Угольные места завалили терриконами. Страну превратили в свалку и предлагаем себя как помойку Европе.

Видно, когда-то Челюкин возмущался, пылал всем этим, с годами у него отгорело, остались печаль и насмешка над прошлыми своими страстями.

Давно он пришел к выводу, что с точки зрения мировой цивилизации наше существование является вредным, мы не имеем права пользоваться этой страной, следовало бы отнять у нас земли, наличие в мире такого бесхозяйственного государства экономически неоправданно. Пустая Сибирь, неосвоенный Север... Будь его воля, он не побоялся бы призвать к нам чужеземцев, хоть японцев, хоть немцев, чтобы они навели порядок.

– Меня в Германии немец спросил, откуда я. Узнав, что из России, похлопал по плечу, сказал, смеясь: «Вотка! Давай! Давай!» – вот их представление о нас. Мне стыдно, что я из России. Глупая страна. Столько умных людей, а страна дура.

– Наша страна дала миру Толстого, Достоевского, Чайковского, – стал перечислять Антон Осипович.

Профессор вежливо кивал, потом сказал:

– Ничего она не дала. Все они вопреки России произошли. Россия всех своих гениев душила. Таланта у нас терпеть не могут, либо запретят, либо до петли доведут. Позвольте вам процитировать классика Щедрина: «Это что за страна?» – спросил приезжий. «Это не страна, – ответили ему, – это Россия».

Люди холопского звания  
Сущие псы иногда,  
Чем тяжелей наказание,  
Тем им милей господя.

Могу Лермонтова, могу Толстого, могу Горького цитировать – они все знали цену России. Вы читали сочинение Мережковского «Грядущий хам», так вот, это мы. Хам пришел и явил миру свою харю. Это еще цветочки. Мы ж никого не любим, ни один народ не чтим. Поляков презираем – что они могут? Немцы – терпеть их не можем, смеемся над их аккуратностью – мещане, бездуховные, скупые. Все иностранцы плохие, все ниже нас, жмоты, подозрительные. Не любим иностранцев и завидуем им, и заискиваем. Я крем купил, наш крем, а название по-английски, и то с ошибкой.

– За такие высказывания раньше давали срок, – сказал Антон Осипович, – да и нынче можно привлечь по клевете. При этой идеологии зачем сидеть в России, уехали бы за границу.

– Это правильный вопрос, – без всякой обиды отвечал профессор. Он не раз подумывал об отъезде, тем более что дочь его с мужем уехали в Германию, там они устроились и работают врачами. Но уехать – значит сдать, перечеркнуть свою многолетнюю борьбу. Нет, лучше, как говорится, пасть на поле боя. Победа ему не светит, но и бегством себя марать неохота.

Тут неожиданно Гераскин выступил – он своих сыновей определил в английскую школу, чтобы язык знали и при первой возможности отправились за границу. Спасать надо от наркоты, от бандитов, от заразы всякой, Россия больна во всех смыслах.

Но вот что интересно: пока Челюкин говорил, с ним соглашались, а кончил – стали возражать, приводили в пример блокаду: Ленинград – единственный город во Второй мировой войне, осажденный со всех сторон, и не сдался, выстоял.

– Это как, по-вашему, – кричал Антон Осипович, – вы скидываете со счета?

– Я не понимаю, как можно жить в Петербурге и не признавать достоинств нашего народа, – говорил Сережа Дремов. – Чтобы создать такой город, сколько надо художественного вкуса, любви к той же Неве. Дело даже не в архитектуре, вся суть в поэзии города. Вспомните вашу юность, катание на Неве, белые ночи, острова, свидания...

Челюкин неприятно засмеялся:

– У меня первая любовь произошла на вонючей кошачьей лестнице, на подоконнике. Так что не надо мне про свидания. Она жила в общежитии, а мы в коммуналке, пять человек в одной комнатухе. Где мы с ней только не искали местечка. В кустах парка культуры, среди собачьего дерьма. Выломали окно, забрались в детский сад. Ни разу не могли, допустим, снять номер в гостинице, чтобы лечь в постель на чистые простыни. Все было случкой. Ничего не осталось от той юной любви, стыдно вспомнить.

В его тоне не было ни торжества, ни горечи, он как бы утешал Дремова, оправдывался за то, что приходится говорить и такое.

Дремов не сдавался:

– Допустим, не повезло вам. А мне повезло. Про каждый народ можно наговорить плохого. Не все так воспринимают Россию.

– Рабы! – упрямо повторял профессор. – Петр сказал: «Я вам зубы рвать буду!» Пожалуйста, все разом рот раскрыли, подставили себя этому сумасброду, самозваному лекарю.

Серега встал, театрально откинул голову, поднял руку:

– Знаете ли вы историю Древнего Рима? Когда-то я увлекался ею. Поучительно. Позвольте вам сообщить мои наблюдения. «Камо грядеши», «Нерон», «Братья Гракхи», сочинения Вагнера... Нерон явный псих. По мере того как болезнь его росла, власть расширялась. Все

понимали, что больной, и помалкивали. Отравил своего брата. Убил мать свою Агриппину. Его садизм не знал пределов. Свободолюбивые римляне покорно принимали его тиранство. Всякий раз оправдывали и прославляли. Центурионы, трибуны целуют Нерону руки, утешая его после убийства матери. Его прославляет Лукан: «Нет божества, которое не уступило бы тебе своего места. Природа разрешит стать тебе любимым богом». Он истребляет всех, кого хочет, без причины, без объяснения. И ему разрешают это делать сами жертвы. Они идут ему навстречу не протестуя. Вот в чем ужас. Никаких судебных разбирательств. Он указывает пальцем, и герой убивает себя. Без жалоб и кассаций. Извещенные трибуном о том, что час настал, римляне садятся в ванну и вскрывают там себе вены. Так поступают один за другим Астин, Острик, Торкват, Петроний, Лукан. Мой любимый Сенека, мудрец, замечательный свободный мыслитель, получив приговор Нерона, покорно подчиняется, садится в ванну и смотрит, как алеет вода. Во имя ничтожества уходит жизнь великого человека, без ропота, без сопротивления. Плавт, будучи в Азии, может в любой момент поднять легионы в свою защиту, вместо этого он по приказу Нерона подставляет горло под меч евнуха. Бездарному певцу, артисту присуждают две тысячи венков. Свергают статуи олимпийских чемпионов, на их постаментах воздвигают изображения Нерона. Вот что меня поражало.

– Это нам знакомо, – сказал Гераскин. – Интересное кино.

– В том-то и дело, может, и у других было похоже. У испанцев. Или индусов, я не знаю, но римляне!..

– То было две тысячи лет назад, – сказал профессор. – Эпоха рабства.

– Всегда виноват человек, а не эпоха, – убежденно сказал Дремов.

Учитель поджал губы, синие глазки его вспыхнули, он хотел что-то сказать, но промолчал.



## Глава восьмая

### Черепаховый суп

Деспот, свирепый, самодур, по-первобытному дикий – чего только не навешивали на Петра. И все доказательно, на все есть факты. Польский историк Валишевский считал натуру Петра темной и страшной, как девственный лес. Он то палач, то Фальстаф, то Наполеон, то Александр Македонский.

Было время, когда Молочков представлял его одержимым идеей служения Отчизне, а все такие люди – фанатики, лишённые обыкновенных человеческих радостей, страстей, увлечений.

Однако чем дальше учитель погружался в материал, тем чаще Петр не желал оставаться в угрюмой сосредоточенности или в безоглядной устремленности. Неожиданно раздавался его ребячий смех, шутки, проказы сбивали с толку, путали.

– Вы заметили, что Летний дворец Петр строил на другом берегу Невы, как раз напротив своего первого домика. Наступала весна, начинался ледоход, и Петр забавлялся тем, что переправлялся на тот берег, прыгая с льдины на льдину. Приближенные в страхе смотрели на это сумасбродство. Хохоча, он озоровал, наслаждаясь смертельной игрой с любезной ему стихией. Льдины звенели, сталкиваясь, поскрипывали, налезая друг на друга, между ними крутилась стылая черная вода. Меншиков как-то попробовал следовать за ним, но отступил, убоясь.

Можно подумать, что Петр в детстве не доиграл. Розыгрыши, потехи, спектакли не отпускали его до конца жизни.

В 1723 году ночью в столице зазвучал набат. Звонили с нескольких колоколен. Люди думали, что пожар, помчались туда, где виднелось высокое пламя. Там перепуганных, наспех одетых горожан хохотом встречали солдаты. «С первым апреля!» – громко возглашал царь, это он верховодил у костра.

Он не упускал случая повеселиться, не было повода – сам придумывал представление, игру, розыгрыш.

В Дрездене, на ярмарке, он уселся на деревянную лошадку, погонял ее криком: скорей, скорей – Schnell! Лошадки карусельные, их вертят быстрее, спутники Петра не удерживаются, их выбрасывает из седел, Петр хохочет от удовольствия, он счастлив как ребенок.

На празднике, уже в России, по случаю заключения мира, Петр устроил народное гулянье и сам пил, угощался со всеми на площади, пел песни, вскочил на стол, отплясывал. Веселость его увлекла окружающих, словно уличный мальчишка, он радовался больше всех. Гулянки длились далеко за полночь, а спозаранку он мчался работать. Что такое усталость, он не знал, похоже, до конца жизни.

Во время плаванья по Дону Петр увидел, как голландский матрос выловил черепаху, сварил ее и с наслаждением съел. Русские, наблюдая это, ужасались. Петр позвал повара, велел ему сварить такой же суп и подать в кают-компанию под видом куриного бульона. Когда приближенные съели этот суп, и с удовольствием, Петр объявил, что то была черепаха, и показал им панцирь. Шафирову и Шеину стало дурно. Бедняги не знали, что в Европе это был деликатес.

Беден тот, в ком ничего не осталось от ребенка. В Петре сохранялся сорванец, бедокур, выдумщик всевозможных проказ, шуток, фантазий.

Он способен отправить послание любимой собаке Меншикова, покорно просить ее не задерживать хозяина, напоминать о срочных делах.

На Новый год он отправляется вместе с толпой ряженных распевать псалмы перед дверьми купцов, приносить поздравления и ждать, когда хозяин вынесет угощение. Один московский

купец пожадничал, отказался угощать. Петр взбунтовал толпу, заставил купца платить каждому штраф.

В Митаве Петр познакомился с местным палачом, тот показал ему свои орудия. Петр выторговал у него специально изготовленный топор. Этот палаческий инструмент Петр послал в подарок (!) князю-кесарю. Ромодановский отписал царю, как он новым топором хорошо отсекает головы преступникам.

Жутковатый юмор легко перемежается с веселыми выдумками.

В пьяной компании он пьет не передергивая, может пить два-три дня подряд, но это не запой, его нельзя назвать пьяницей. Его не тянет к вину, он не валяется под столом. Память иногда отшибает, и все же не совсем. В записке адмиралу Апраксину пишет: «Как я вас покинул, я, право, не могу сказать, так как прямо обременен дарами Вакха. Прошу меня простить, ежели я в чем-либо провинился против некоторых из вас... И забыть то, что произошло». Апраксин был старше его, и Петр соблюдал этикет, заведенный издавна в России. Старших уважали. Вельможа вставал перед человеком низшего звания, украшенным седиными. Князь Михаил Голицын, увенчанный воинскими лаврами, генерал-фельдмаршал, сенатор, шестидесятилетний, не смел садиться при брате своем Дмитрие, который был на девять лет старше. Никто не смел прервать старшего. Его усаживали на самое почетное место.

Петр любил прогуливаться пешком. Взяв с собой трость, шел в порт, заходил в трактиры, подсаживался к матросам, купцам, расспрашивал про их житье-бытье. Если на улице прохожий, кланяясь, останавливался перед государем, он подходил, взяв его за плечо, спрашивал:

– Ты чего?

– Я свое уважение, царь-батюшка, хочу выразить.

– Милый, у меня свои дела, у тебя свои, чего нам попусту стоять.

Зайдет во дворец адмирала Апраксина. Там в галерее с четырех часов накрыты столы: холодная закуска, фрукты, вина. Угощают всех проходящих.

Мог пожаловать на Фонтанку во дворец Шереметева. У того всегда накрывали на 50 персон. Садись все званные и незванные, имущие и неимущие.

Благотворительность была развита как умение накормить, напоить, приветить гостя, когда бы он ни пришел. В гостеприимстве состояла репутация хозяина, да и удовольствие жизни. Петр ценил русское гостеприимство выше заграничного. Он любил заходить к ремесленникам, садился с ними обедать, не отказывался выпить. Лишние почести своей персоне оказывать запрещал. Он говорил: глина, из которой был сделан Адам, ни боярская, ни китайская...

Будучи в Англии, посетил парламент. Удивлялся и радовался активному поведению оппозиции. С тех пор повторял: «Полезное я рад слушать от любого, хоть от последнего человека. Руки, ноги, язык не скованы, а доступ до меня свободен».

Поскольку он ездил по всей России, то был доступен, доступнее многих губернаторов. Крестил детей, бывал на свадьбах, похоронах.

Новшества он внедряет насильно и со смехом. Адмирал Головин не хочет есть салат с уксусом, который был в новинку. Петр вливает ему силой стакан уксуса в рот. Бояться есть устриц, он принуждает есть и хохочет над страхами сотрапезников. Это у него не садизм, не самодурство, а его способ вводить, утверждать новое: «по-скорому, не откладывая на будущее, согласно примеру Господа нашего, который мудро создавал мир изо дня в день, безотлагательно».

Его осуждали из поколения в поколение. За то, что насильно сбрасывал бороды у бояр, приказывал носить иноземное платье. Заметим, что после его кончины никто не вернулся к прежнему, не стали отращивать бороды, не скинули немецкие одежды. Брились, шеголяли в европейском платье, в модных париках.

Многое шло у него от нетерпения. Времени перевоспитывать не было. Так нещадно стегает ездовой упряжку, застрявшую в грязи.

В Преображенском Петр увидел дом, где шли когда-то переговоры о том, чтобы начать войну со шведами. Ныне, в 1723 году, война окончена, а что, если здесь и обозначить конец? Сжечь дом, подвести огненную черту. И не просто сжечь, он велит обложить дом шутихами, римскими свечами и запалить. Дом вспыхнул. Во все стороны стреляют звезды, взмываются огненные столбы, зеленые, голубые. Языки пламени освещают могучую фигуру в зеленом кафтане, треугольной шляпе, он притопывает стоптанными башмаками, бьет в бубен. Конец военной эпопеи! Она отняла у него двадцать один год! Наступает новая эра победного мира!

Полководец, флотоводец, он ценил победу, военные удачи баловали его, и все же куда дороже была ему мирная жизнь, он мечтал пестовать свое детище – Академию наук, посылать экспедиции, собирать чудеса природы, заниматься просвещением, науками. Строить новую столицу. Туда тянулась его душа.

Огненные фонтаны взмывали и расцветали букетами в густом вечернем небе. Что у него получалось, так это символика. Он мало что смыслил в живописи, в музыке. Искусство аллегории – в этом он разбирался. Ценил мистерии, фарсы, умел придумывать и ставить красочную шумовую феерию. В ней рассказывал о своих действиях, об успехах. Если угодно, то была монументально-воздушная пропаганда достижений его царствия. Других способов информации у него не было. Через эти представления он с неба обращался к народу.

Он любил пользоваться и притчами, и баснями, это хорошо сочеталось с его ребячьей фантазией. Вот и этот пожар в Преображенском он завершил пересказом одной из басен Эзопа – как Геракл шел по узкой дороге, увидел на земле что-то похожее на яблоко, попробовал разбить это. Но предмет сделался вдвое больше. Геракл еще сильнее стал бить его своей дубиной. Предмет раздулся так, что загородил всю дорогу. Геракл бросил дубину и остановился в изумлении. Тут ему явилась Афина и сказала: «Перестань, брат! Это распря, если ее не трогаешь, то она останется как была вначале, а при борьбе она так раздувается».

В октябре 1721 года Петербург отмечал присвоение Петру титулов Петра Великого, Императора Всероссийского и Отца Отечества.

Вечером начались огненные потехи. Грянул залп со всех галер, с крепости, так что земля содрогнулась.

Представление происходило над крепостью на глазах тысячных толп жителей новой столицы.

Зажегся огромный щит, на нем появилась богиня Правды, в одной руке у нее были весы, в другой меч, ногами она попирала ненавистников России в виде фурии, надпись на щите гласила: «Всегда победит!» Рядом зажегся другой щит. На нем корабль входил в гавань с надписью «Конец делу венец». Загорелись пирамиды, завертелись огненные колеса, взметнулись огненные фонтаны. Два часа продолжалось представление, не просто потешные огни метались по небу, шло осмысленное действие, управлял им сам Петр, зрителям показывали значение побед, значение завоеванного мира.

В те времена, когда не было ни радио, ни газет, ни плакатов, огненные представления были единственным средством разъяснить, осмыслить происходящее. Так Петр преподносил свои успехи.

Было ли что-либо подобное в Европе, учитель не знал, иностранные дипломаты того времени, кто видел эти торжества в Петербурге и в Москве, были в восторге. Во всяком случае, для России зрелище это было новое, производило оно сильнейшее впечатление, будоражило умы, запоминалось навсегда. Шутка ли, над низкими топкими берегами, где между недостроенными дворцами чернели хижины, дымили землянки, сияли в бриллиантах огней фантасти-

ческие сцены. Словно небесные силы принимали участие в русской истории, судили, освещали и благословляли действия россиян.

Гений Петра сложный, тайники его души не исследованы, да они, как утверждал Молочков, и не поддаются анализу, из них вырываются решения неожиданные, порой фантастические. В Петре нет ничего от заурядного человека. Он велик во всем, и в благородстве, и в веселье, и в безобразиях, поступки его непредсказуемы. О нем рискованно судить по результатам. То и дело он опровергает свой характер. Детские выходки можно отнести к непосредственности, к игре нерастрченных сил, все было бы ясно, если бы игра не переходила в задуманный спектакль, а спектакль в жестокость.

Петр совмещает в себе многих разных людей, каждый из них то появляется, то исчезает, и никак не выяснить, кто же главный.

Известен рассказ, как по московской улице Петр едет в своей одноколке, навстречу ему мчится огромная пышная карета, где восседает князь Ромодановский. Впереди скачет адъютант, разгоняя прохожих, орет: «Сторонись, прочь с дороги, князь-кесарь едет, шапки долой!» Многочисленная свита сопровождает экипаж. Они проносятся мимо Петра, и Ромодановский устремляет на царя гневный взгляд. Петр кланяется ему: «Здравствуй, мой милостивый государь-кесарь».

Спустя час к царю прискакал курьер от Ромодановского с требованием, чтобы Петр прибыл к ответу в Преображенский приказ. Петр явился. Князь, не вставая с кресла, сурово спрашивает: «Что за спесь, что за гордость у Петра Михайлова? Почему на дороге шляпу не снял?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.